

СЕМЬ ЖИЗНЕЙ ЯНА РАЙНИСА

ПРАВДА О «СВОБОДНОМ ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИИ»

ЕСЛИ БЫ ПОБЕДИЛ ТРОЦКИЙ . . .

НУЖЕН ЛИ НАМ ПАЛАЧИ

7

90

Даугава



Поют латыши [см. с. 27].

Фото Улдиса Бриедиса

Даугава

И Ю Л ь (157)

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ЛАТВИЙСКОЙ ССР.
ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1977 ГОДА

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ЛАТВИИ. РИГА

В Н О М Е Р Е:

Проза и поэзия

- 3 *Роальд Добровенский*
Семь жизней Яна Райниса. Главы романа-биографии
- 42 *Виктор Ливземниекс*
Судный день. Стихи
- 45 *Владимир Матлин*
Рассказы
- 66 *Белла Дижур*
Юрмальская весна. Стихи
- 70 *Леонид Могилев*
Марафон. Рассказ
- Публицистика
- 73 *Илга Горе*
«Свободное волеизъявление» — как это делалось
- 83 *Александр Цинко*
Если бы победил Троцкий . . .
- 99 *Давид Фельдман*
Нужен ли нам палач!

1990

7

(см. на обороте)

В Н О М Е Р Е:

Культурология

105 *Вацлав Гавел*
Власть безвластных. Отрывки из книги

112 *А. А. Илюшин*
О. «К. с.» Л. Т.: загадки букв

Обзоры, размышления, рецензии

115 *Вадим Руднев*
В поисках утраченного структурализма

Методіа

122 *Андрей Задонский*
IV. Городок в снегу

К нашим иллюстрациям

27 *Андрис Якубан*
Поют латыши

126 **Почта «Даугавы»**

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

Главный редактор
Владлен ДОЗОРЦЕВ

Редакционная коллегия:

Юрий АБЫЗОВ, Виктор АВОТИНЬШ, Людмила АЗАРОВА, Астрида АЛЬКЕ, Улдис БЕРЗИНЬШ, Николай ГУДАНЕЦ, Юрис ДИМИТЕРС, Вика ДОРОШЕНКО, Вячеслав ИВАНОВ, Марина КОСТЕНЕЦКАЯ, Петр КРУПНИКОВ, Григорий НИКИФОРОВИЧ, Янис ПЕТЕРС, Кнут СКУЕНИЕКС, Ян СТРАДЫНЬ, Янис СТРЕЙЧ, Роман ТИМЕНЧИК, Адольф ШАПИРО.

Редакция:

зам. главного редактора Андрис ЯКУБАН (член редколлегии), и. о. ответственного секретаря Борис ПОПОВ, зав. отделом прозы Роальд ДОБРОВЕНСКИЙ, зав. отделом поэзии Леонид ЧЕРЕВИЧНИК (член редколлегии), зав. отделом публицистики Илан ПОЛОЦК, зав. отделом критики Вадим РУДНЕВ, зав. отделом писем Михаил АФРЕМОВИЧ, редактор-стилист Леонид ГУРЕВИЧ, спецкорреспондент Алла ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ.

Роальд ДОБРОВЕНСКИЙ

СЕМЬ ЖИЗНЕЙ ЯНА РАЙНИСА

Главы романа-биографии

Посвящается Велте Калтыне

ПРОЛОГ

Мир был беспределен.

Плоская, ничем неограниченная земля уходила из одной бесконечности в другую, теряясь в тумане чудес, миражей, в переплетениях сполохов, радуг, вихрей.

Границы — тоже зыбкие — наблюдались еще в христианском мире. А там, за морями и пустынями, за турками, маврами, эфиопами, пигмеями; там, за капищами языческими, за истуканами, чьи темные рожки испачканы были свежедымящейся человеческой кровью, там . . . что? — никто не знал.

Незнание — сплошь обещание, и не знаешь, — в том и прелесть, — что именно обещано. Ища, глядя вперед и вверх зачарованно, хоть и в пропасть ступишь. Знание крест-накрест перечеркивает тысячи возможностей, оставляет одну. Такова узаконенная супружеская ласка: безопасная, надежная, пресная, — против шалой влюбленности. Брось! Плюнь, отрекись, понял ведь, чем рискуешь? — всем! И пусть. Предчувствие погони, затеваемой — мужем, отцом, братом? Погони жестокой, бешеной, копытами по тебе . . . а вдруг и по ней тоже? Спешка, ночь, оборванный вскриком поцелуй, обрубленный ударом, стоном, хрипом. Ну что? Никогда больше?

Нет, чего уж там: нужна другая кровь, спокойная, мирная, рыба, чтобы желать только дозволенного и известного и только в умеренных дозах. Эти, перекрещивающие свою отрыжку и свой раздирающий зевок на ночь, — разве они живут?!

И думал, перекрещивая рот, раздернутый в неуправляемой, сладкой, честной зевоте, все о том же: Боже милостивый, всеблагий, не дай мне сделаться ни охотником ни дичью, ни судьей ни преступником, ни палачом ни жертвой.

Эти, шныряющие из конца в конец, с волчьей клыкастой ухмылкой, с кривыми ногами наездников, разучившихся ходить, они и сцать-то, по слухам, наострились не слезая с коня; эти, просовывающие в женскую плоть неопрятный отросток так же лихо и равнодушно, так же привычно, как клинок под ребро, не знающие твердой почвы, не

помнящие отца-матери, не ведающие, что есть на земле постоянство, — разве ж они живут?

Мир был бесконечен, не только вширь, но и ввысь, вглубь. Чудеса дыбились над головой: там, возле звезд, в шуршанье и шелесте незримых ангельских крыл трепетала музыка. Страхи, мерзости, по-змеиному скользкие, копошились внизу, заполонив до последних бездн преисподнюю.

Леший водил: по лесу да в трясину; морские чудища проглатывали корабли; водяной топил, домовый душил.

Ангел указывал путь, бес подставлял подножку, нырял в твоё же нутро и оттуда щекотал, похихикивал.

Новость была насущна как хлеб — изголодавшись, за нее и готовы были платить не торгуясь.

Странник, пилигрим, шут, пройдоха, бродяга. Вечно ненавидимый, вечно желанный. Разносчик новостей и чесотки, песенок, сплетен, соблазнов, разрушитель всего, что непрочно, а прочно-то что?

Муж гонит в дверь, жена привечает в окно. Жена выгонит, — а дочка наутро ходит с необъяснимой улыбкой, от которой воздух в доме меняется.

Художник больших дорог, враль, попрошайка, а может, и вор? Злая карриатура на рыцаря. Петлистый заячий след — его последний рисунок; и зарыт без креста, как собака.

Странник странствует; странны и речи, и очи его.

Странник странствует, из страны в страну, рыцарь — рыщет.

Давно ли на дорогах Лотарингии, Венгрии, Сербии . . . а потом и в Константинополе, а там и в Земле Обетованной видели впервые всадника с красным крестом на правом плече? Крестonosца.

Видели при взятии Никеи, Антиохии, Эдессы. Сколько молитв вознесено. Сколько перерезано глоток, вопящих, выстанывающих, вываивающих напоследок: «Алла, Алла-а-а!» — И дрогнули, не вынесли последнего напора сельджуки, июля 15 дня 1099 года пал Иерусалим, и слезы брызнули из глаз, узревших центр мира, Голгофу, и подломилась колени освободителей Гроба Господня, через столько смертей и мук, через наваждения адские преступивших и веривших непреложно, что возжеленный этот миг смое с них как губкой коросту грехов и пороков и голубиной, новорожденной чистотой оросит заскозлые души.

Великий и впрямь очистительный миг! А дальше что? А дальше — сильнее зачесались шрамы, заныли свежие раны, и примолкшие было страсти опять треплют душу, и память, подлая, крозоточит.

Монахи, обосновавшиеся на Святой земле еще лет за тридцать до взятия Иерусалима, когда итальянские купцы из Амальфи построили здесь монастырь, лечебницу для пилигримов и часовню, посвященную святому Иоанну, хлопочут, из сил выбиваясь. Но не всем дано исцелить, да и не все раны видимы оком, телесны.

Иоанниты — называют этих монахов, госпитальеры. Число их растёт. К серой братии, усердно ухаживающей за больными, добавились пресвитеры: их дело исповедовать и отпускать грехи, причащать умирающих. Раненые и врачующие нуждаются в защите — от зыркающих глазами в ночи сарацинов, от врагов, заведенных среди

христиан в годы походов, от мародеров. И вот появляются меж госпитальерами рыцари, исцеляющие только мечом, — зато разом от всех болезней, прошлых и будущих.

В 1113 году иоанниты получили от папы Пасхалия II особый устав, а к 1118-му вполне сложился первый духовный рыцарский орден. Иоаннитов узнавали по черному плащу с белым крестом.

Через год возник могучий, суровый орден тамплиеров — храмовников. Название происходило от их первой резиденции: ею послужил дворец, построенный на том самом месте, где некогда стоял храм царя Соломона.

Эти носили белую мантию с красным осьмиугольным крестом.

В 1144 году турки отвоевали Эдессу. Последовал второй крестовый поход, окончившийся срамом неоспоримых, сплошных неудач. И еще миновало лет сорок — египетский султан Салах-ад-дин захватил опять Иерусалим; этого уж никак нельзя было перенести, и новый, третий крестовый поход возглаголи три могущественнейших христианских государя: император Священной Римской империи, германский король Фридрих I Барбаросса, Филипп II Август Французский, король Англии Ричард Львиное Сердце.

Что скажут нам эти имена? Смутно напомним кому-то детство? Татьяна Васильевна . . . — знаю, вашу учительницу истории звали по-другому, и не так, иначе, заговаривалась, чуть не пела она при рассказе. И ваша не привставала в решающие моменты на цыпочки, а моя — привставала, чтобы уж наверняка и навеки, в самую тьму наших безграмотных душ заложить то обстоятельство, что император Фридрих I Барбаросса был рыжебород, отсюда и прозвище: барба — борода, росса — красная; и утонул в 1190 году при переправе через реку Салеф в Киликии (то-то было шуму! ужасу! переполоху!).

Ричард Львиное Сердце взял Кипр, разбил султана Салах-ад-дина, на обратном пути был схвачен какими-то людьми . . . Это постарался Леопольд IV Австрийский, которого Ричард имел несчастье смертельно оскорбить при осаде Акки в Палестине. И Ричард, со своим Львиным Сердцем, томился в заточении года три, пока не был выкуплен за 150 тысяч марок серебра, — я мог что-то перепутать, но едва ли.

При осаде той самой Акки, крепости на средиземноморском берегу, немецкие купцы из Любека и Бремена тоже устроили палатку для ухода за ранеными. Палатка затем, ввиду обилия страждущих, обратилась в госпиталь. Госпиталь дал начало новому ордену, основанному «для оказания помощи больным и бедным паломникам германского происхождения».

Поначалу Тевтонский, или Немецкий, орден, *Ordo domus Sanctae Mariae Teutonicorum*, провозглашал только цели милосердия, и первый его статут заимствован у монахов-иоаннитов. Но в разгар крестового похода, в ожесточении непрерывных схваток орден быстро приобрел характер воинственный; уже к 1189 году ему понадобился новый устав; за образец были взяты жесткие правила тамплиеров.

О чем говорили там, при осаде Акки, не желавшей сдаваться?

Беспроглядными южными ночами, в темноте или у скупого огня — что должно было цениться в тягучие часы ожидания? Балагурство? Да, и любовные враки, похвальба и похабство; но этот товар приедается быстро; а вот в особенной цене должны были быть замысловатые повести о приключениях, о неведомых и далеких странах, лучше всего не южных и не восточных: обрыдли сладость и терпкость Востока, душу мутит от чужеродного знойного неба, и одно лишь напоминание о прохладных полноводных реках, об осенних облетающих лесах, золотистых, багряных — точно лед к горячему лбу.

Потом-то — да . . . Потом, через годы, кто выживет, один из пятерых, кто достигнет родного очага, тот вспомнит весь блеск Востока, изумится и ему и себе, ахнет над каждой минутой, забыв лихорадку, склоки, тогдашние жары и жажды, а вытащив из памяти азарт битв, виденные или промотанные сокровища, миндалевидные глаза отнятых у врага, бессловесных красавиц.

Да, но теперь-то они хотят слышать про Север, про льды, вьюги; и торговые люди из Любека и Бремена рассказывают им, слышите, про славный город Висбю, берег далекого холодного моря возникает среди ночи; кто-то обривает имя реки: Дюна, — широкой, полноводной реки, с большими зелеными островами; из морского залива она позволяет уйти в глубину страны, населенной язычниками, простодушными и капризными как дети.

Любекские и бременские купцы знают и те страны, и эти. Должно быть, они спорят, кто первый попал в страну ливов: недавно, каких-нибудь три десятка лет назад, буря занесла немецкий корабль в устье той самой Дюны впервые; корабль был из Бремена. «Буря-то бурей, а мы там и раньше вас бывали!» — пылко произносит пятнадцатилетний мальчишка из Любека, и все смеются: он-то, ясное дело, где только не был! Юнец, насупившись, напоминает лица смеющихся. Ни одному, ни одному из них он никогда не простит! И смех обрывается. Мальчик не сам по себе попал из Любека в Акку: чей он? кто за ним стоит? Не всякий может себе позволить смеяться где попало.

Грубое время. Но всегда находятся люди, которым это самое, наличное время как раз впору. Быстро, легко привыкали к запаху и виду крови, человекоубийству. Рыцари постигали это ремесло с пеленок, но и вчерашний крестьянин протыкал людей деловито, умело и, превратив врага в неживой предмет, снимал с него (если было что снимать) свои трофеи с хозяйственной сноровкой. Впрочем, в любую минуту он мог поменяться местами с поверженным турком или египтянином и тоже не ждал бы сострадания.

Стервятники, тяжелые от сытости, тучей кружили над Средиземноморьем. Проголодавшись, падали сверху, рвали когтями и клювом привядшую плоть, равнодушно терпели соседство шакалов и грызунов: чего уж там . . . всем хватит; и не видели никакого различия между мясом христиан, мусульман, евреев, язычников, между всем тем, что говорило, бахвалилось и грозило еще вчера по-французски, по-немецки и по-итальянски или по-арабски призывало пророка.

Божьим именем осенялись и двигались громадные полчища, и с надзвездных высей, может быть, открылся бы ритм и смысл в приливах-отливах пестрой человеческой массы, в столкновениях и откатах, оставлявших на покинутом месте трупы, недвижимые, неповоротливые как мешки.

Известно, чем еще досаждают осады: пища грубая и скудная, даже свежий бриз не справляется с вонью. Армия, изнывающая у стен крепости, — это всегда очень много дерьма.

Пробивая любое зловоние, светом невидимым возносится к небу молитва. Чем грязнее, черствей дни и ночи, тем неотступнее хотение чистоты. Не в каждой душе оно — не в каждой второй и, быть может, не в каждой десятой. Не в диковинку беспричинная злоба, крысиный эгоизм забот и движений. Погоня за добычей, за сладким куском, за бесчувственной механической лаской походной шлюхи . . . А кто б осудил послушание, каким человек снимает с себя и перекладывает ответ на других?

Но есть, есть умы и души, не потерявшие цель: фанатики веры и мудрые мужи, видящие, что Западу не обойтись без Востока. Есть полководцы, хладнокровно прикидывающие свои и чужие потери. Есть мечтатели, даже во сне бормочущие о священном Граале; есть полоумные. Есть одержимые беспутством и есть аскеты, давшие обет воздержания и исполняющие его, к изумлению разудалых товарищей. Есть неподкупные воины Христа, есть пресвитеры и монахи, не устающие отмаливать свои и чужие грехи.

Столкнулись и переплелись в смертельных бойцовских объятиях две отдельные ветви рода человеческого; этим объятиям никогда уже до конца не разомкнуться, и Бог, каким бы именем ни окликали его снизу охрипшие глотки, не непричастен, кажется, к происходящему.

И вот что было еще: духовная непререкаемая власть соединялась с законами воинского подчинения. Туда, вдаль уходил этот путь, в потемки грядущего; и был он забран решеткой, возвышающейся от земли до небес. Смотри, не вздумай шагнуть вбок. И смерть твоя не будет легка, и за громом отступнику обещаны муки, для которых неостанет воображения у нас, грешных.

Именем любви множилось и множилось невиданное ожесточение. Ежедневное палачество освящалось; священной именовалась и вся целиком борьба последних ста лет, и все ее перипетии и атрибуты. Святой провозглашалась ненависть к иноверцам, которую в человеке так легко разжечь и так трудно потушить или просто направить в другую сторону. Ненависть называла себя залогом и воплощением христианской любви. Так самовлюбленная чума могла бы сравнить свои бубоны и язвы с луговыми цветами.

Перемены, происшедшие в христианском и в мусульманском мире к концу XII столетия, перевернули все и внутри людей. Из их лиц смотрели не прежние глаза. Мало того, что обычаи, законы, пристрастия прошлого были сброшены, как выползень — старая ненужная кожа. И родители и дети не знали еще, что время их выпотрошило и подменило.

Из действующих лиц наступавшего будущего был молодой брат архиепископа Бременского Альберт. В 1189 году он упоминается как настоятель кафедрального собора (Domherr) в Бремене. Он из рыцарского рода Апельдерн.

В Риме вырастала, наливалась силой фигура, от которой в грядущее

пала густая, по крайней мере тысячелетняя тень (а размер тени зависит от расположения источника света и от его яркости): граф Лотарио ди Сеньи. Он изучал теологию в Париже и Болонье, при папе Григории III был судьей-конном. Теперь, в разгар третьего крестового похода, в 1190 году — кардинал. Ему двадцать девять лет.

Эти два довольно молодых человека встретятся, но не сразу. Уцелевшим крестоносцам надобно возвратиться из Палестины и Сирии. Несколько насильственных и естественных смертей должны произойти, чтобы расчистить дорогу тому и другому.

Умрет папа Клементий III, и синклит кардиналов изберет его преемника. В январе 1198 года начнется понтификат папы Иннокентия III, мирское имя которого, Лотарио ди Сеньи, окажется с тех пор погребено и забыто.

Поприще для упомянутого Альберта из Бремена готовилось Провидением и людьми вдалеке от папского престола — в Ливонии, о коей любили потолковать немецкие купцы и где-нибудь у себя, в Саксонии, и на острове Готланд, и в дальних опасных путешествиях, в Палестине, Сирии.

Устье реки Дюны было входом в целую страну, за которой простирались земли множества племен и народов; княжества, укрепленные города, тайные лесные укрытия, разбойничьи логова, языческие капища; православные храмы; воинственная Литва; Полоцк, Новгород, Псков . . . Торговые пути здесь проложены были издревле. Время от времени они зарастали забвением, глохли, потом возникали вновь — не точь-в-точь там же, где прежде, — рядом или поодаль, но возобновлялись непременно, ведя от Севера к Югу: неистребимые свидетельства того, что части человечества, разъятые неведомо когда, тянутся друг к другу, будто желая срасситься.

Первый католический миссионер в Ливонии, монах Мейнхард, успел, заручившись согласием князя Полоцкого, которому ливы платили дань, построить каменный храм верстах в тридцати от устья Дюны; успел крестить местных язычников и пережить их отпадение от веры. Архиепископ Бременский, сознавая всю важность задачи, за которую взялся Мейнхард, возвел его в епископский сан.

Мейнхард умер в 1196 году. Бертольд, прибывший ему на смену, был встречен ливами враждебно. Пришлось покинуть негостеприимную страну в немалой спешке. Бертольд отправился в Рим за подмогой. В 1198 году он возвратился, но уже не один, а с войском, которое тут же и занялось своим прямым делом: стало драться. И в первой же битве Бертольду . . . «не повезло», — хотел сказать я, но какое уж тут везенье или невезенье. Смерть ждала его. По преданию, конь его испугался какого-то внезапного шума и понес; суровый прелат оказался вдруг в самой гуще язычников. Лив Имаут заколол его. (Другие называют этого Имаута Имантом.)

Соратники погибшего озверели. Они жгли ливские дома, вытапывали посевы, гнали и травили ливов как дичь.

Язычники, пережившие этот припадок ярости, были приведены к покорности. Приняли христианство, некоторые — не в первый раз. Поклялись платить церковный налог. Но стоило отбыть воинским отрядом — и эти упрямцы бросились в Даугаву, смывать с себя следы крещения. Свои, все видевшие боги должны были простить и понять.

. . . Выехав из родного Бремена, Альберт направился не к своей

будущей пастве, а ко двору германского императора; оттуда двинулся к датскому королю.

Иннокентий III поддерживал Альберта с первых его шагов. Папа объявил крестовый поход против язычников-ливов и их ближайших соседей. Всем, кто отправлялся в Ливонию, обещано было отпущение грехов.

Сегодня уже не каждому внятно это словосочетание. Грех греху рознь. Подросток, в полусне предавшийся рукоблудию и наутро, красный от стыда, дающий себе слово, что это в последний раз, и головорез, прикончивший накануне безвинного встречного и не испытывающий ни малейшего раскаяния, — оба грешники. Крестоносцам — всем до единого — отпускались в се грехи. Отцеубийцы, садисты-насилыники, мошенники, пираты, воры всех мастей, развратники, клятвопреступники, пьяницы, двоеженцы, кровосмесители, осквернители могил, поджигатели, шулеры, разбойники с большой дороги — все они могли сделаться снова незапятнанными, как в младенчестве; для этого достаточно было с весны до осени пробыть с епископом Альбертом там, за островом Готланд, на берегах широкой и полноводной Дюны. О, конечно, каждый из участников крестового похода рисковал жизнью. Но многих на родине поджидала верная смерть — петля палача, или колесо, или дыба; либо каторжные работы. Что же до риска — то сегодня трудно себе представить, насколько привычен и каждодневен он был и насколько хладнокровно большинство живущих относилось к грозившей отовсюду гибели. Смерть была, можно сказать, нормой, а продолжающаяся долго невреждаемая жизнь — исключением. Трусость извинительной казалась только в холопах, — но и холоп наказывался за ее проявления пребольно.

В бессмертии души сомневалось не больше народу, чем ныне сомневается в том, что земля — шар. Ценой краткой земной жизни обрести жизнь вечную? «Какой дурак откажется от столь выгодного обмена?» — как заметил один из купцов, плывший к берегам Ливонии вместе с Альбертом. Увечья страшили более, но не слишком. Увечье, позволявшее жить и действовать самостоятельно, не безобразило мужчину, а увенчивало в глазах детей, других мужчин, женщин. Боевые шрамы были в цене и даже на противника действовали иной раз отрезвляюще. Искалеченный непоправимо — исчезал с поверхности земли почти так же быстро, как полный мертвец. Кто был в состоянии хотя бы просить милостыню — тот мог выжить. В могилу как будто никто не спешил. Могилы никто не боялся. Человек терпел свое тело, вместилище кишок и пороков, соблазнов и хворей, но поглядывал на него как бы извне: душа его, как бы это сказать, издала и сверху наблюдала его, покачивала головой (понимаю, это странно звучит: какая же «голова» у души? Но жест именно тот: покачивала . . .) — отчужденно, осуждающе, мол, — долго еще мне с тобой канителиться?

Некоторые из крестоносцев о душе заботились так же мало, как и обо всем остальном; жили минутой, а в поход отправлялись, чтобы не попасть в руки тюремщика или палача да еще чтобы погулять вволю.

В 1200 году, последнем году истекавшего столетия, во главе целого флота из двадцати трех кораблей епископ Альберт вошел в устье Дюны-Даугавы.

Уже подымаясь вверх по течению реки к резиденции двух своих

предшественников, Икшкиле, он столкнулся с ливами. Все повторилось. Крестоносцы жгли дома и селения, вытапывали нивы. Снова язычники запросили мира и объявили о своем согласии креститься . . . Веры им не было. Альберт сделал, однако, вид, будто не сомневается в их искренности. В честь примирения он устроил грандиозный пир, на который пригласил ливских вождей и старейшин. В разгар пира расслабившиеся гости были схвачены и заточены. Недавний радушный хозяин явился — отнюдь не затем, чтобы покаяться в вероломстве. Все будет освобождено, сказал он, но при одном условии: каждый должен призвать сюда своего сына, наследника и оставить заложником у крестоносцев.

Так тридцать молодых знатных ливов попали к Альберту; позднее он для верности вывез их в Германию. Известный род баронов Ливенов, кажется, происходил от одного из этих юношей.

На правом берегу Дюны, всего в нескольких верстах от залива, при впадении в Дюну малой речки Ридзини, епископ основал город. Место было на редкость удобное и живописное, недаром здесь и раньше стояло поселение ливов.

Альберт приказал разровнять площадь для рынка, а вокруг всего будущего города воздвигнуть земляной вал. И тут же заложил и начал строить храм. Так началась Рига.

Немецкие купцы, ремесленники, как сказано, частью прибыли вместе с кораблями, частью спешили вдогон, тончайшим чутьем слыша запах верной, долгой поживы.

Епископу Альберту мало оказалось крестоносцев, прибывавших на одно лето. Краткий набег хорош для диких кочевников: налетел, взял свое и пропал навеки. Рижскому прелату нужно глядеть далеко вперед; что взято — не отдавать никогда. В 1202 году объявляется о создании нового рыцарского ордена для борьбы с язычниками в Ливонии и близлежащих краях. В 1204 году специальной буллой его утверждает папа римский. М е ч е н о с ц ы (маленький крест и большой красный меч острием вниз — их отличительный знак) — единственный духовно-рыцарский орден, возникший при Иннокентии III.

Альберт получил небольшое, но постоянное и возобновляемое войско. Неиссякаемость его обеспечивалась людскими резервами Священной Римской империи и памятливым вниманием папы.

В 1205 году очаг отчаянного сопротивления возник в Саласпилсе. Ливы бились с закованными в железо рыцарями, кажется, уже вовсе ничего не страшась и желая скорее смерти, чем новой неволи. Меченосцам пришлось трудно. Немало их полегло на песчаной земле, рядом с разбросанными там и сям древними валунами. Бывали дни, когда уныние охватывало пришлецов: казалось, новые дикари вырастают из почвы сами по себе, как ледниковые камни, и конца этому не будет.

Пришлось оголить Ригу, поставив в строй всех здоровых мужчин, вызвать подмогу из Саксонии. Но ничто не помогло бы, если бы не поддержка крещеных ливов. Этим вовсе нечего было терять; с угрюмым ожесточением они защищали незримого и грозного чужеземного бога; теперь и он обязан был защитить их.

За Даугавой последовала Гауя. Ливский вождь Каупо, принявший крещение еще при Мейнхарде, совершивший путешествие в немецкие

города и в Рим, обласканный самим папой, теперь напал на бывший свой замок в Турайде. Вместе с меченосцами избивал своих единоплеменников, вчерашних друзей; замок был взят и сожжен.

И в 1207 году братья Христова воинства получили от епископа в вечное владение треть завоеванных ливских земель. Им причиталась также третья часть ото всего, что удастся завоевать впредь. Мертвой хваткой, как лесные клещи, вцепились в тело страны безземельные младшие отпрыски старых северогерманских родов. Насосавшись крови, клещ и рад бы отпасть, но поздно, и никакая сила уже не оторвет от жертвы разбухшего паразита: он и собою, похоже, перестал быть, сделавшись наростом чужой плоти, болячкой, несчастьем и хворью другого существа.

Ожесточение тех битв неопишимо. Древних обитателей Балтии нельзя было приучить к неволе: лишившись оружия, они бросались на обидчиков с голыми руками; руки свяжут — норовили впиться зубами в кольчугу. При всей бессмысленности, нелогичности такого сопротивления, быстрая дрожь пробегала по хребту рыцаря, влажному от размашистых движений, от ударов, в которые каждый раз приходится вкладывать всего себя.

Тринадцать раз предпринимал епископ Альберт трудные, опасные поездки в Германию; добирался и до Рима.

Снова и снова язычники напрягались в немыслимом, совсем уж нечеловеческом усилии, чтобы сбросить с себя проклятых чужаков. Казалось, этого-то последнего натиска пришлецы не должны выдержать: сколько их может быть? Выдохнутся, откатятся, отступят непременно, свалятся в изнеможении и, кто выживет, сбегут наконец-то — должен же быть предел и их жадности и упорству? Да и где взять столько женщин, чтобы нарожать еще грубых, закованных в броню и ненависть — взамен нарвавшихся на меч, опрокинутых, ушедших на речное дно со всем своим железом?

Но где-то там, за морем, хватало матерей, наверно таких же железных; хватало оружейников, хватало корабельных верфей; не знали отчаянные латгалы, селы, ливы, что силы, ополчившиеся на них, неистощимы: владыка полумира стоял за ними. Давно бы задохнулось нашествие, — но защитники Кокнесе и Ерсики, деревянных и земляных укреплений воевали с папой римским и германским императором, — и никакой, самой длинной пикой, ни одной, самой меткой стрелой не достать было неуязвимых противников.

Тринадцатый век... три-на-дцать-ый! Тринадцатость, чертоводужинность того столетия почувствовали на себе многие народы земли, и страшно отозвалась она на их дальнейших путях. Век, в который орды Чингисхана, а потом его внука Батыея обрушились на Русь (тридцать седьмой год!).

Столетней войной называют обычно войну Англии с Францией (1337—1453 гг.), а между тем то была вторая столетняя война в Европе: первая следовало бы назвать войну на берегах Балтии, начавшуюся для местных народов и племен в двенадцатом и окончившуюся в самом конце тринадцатого века. И если в той Столетней войне, которую под этим именем изучают школьники

всего света, бывали перерывы, перемирия, длившиеся годами и даже десятилетиями, то столетняя война в Прибалтике велась пятью поколениями завоевателей и пятью поколениями автохтонов беспрепятственно год за годом, без просветов.

Между сном и явью, но ближе к сну, теряя власть над тем, что проходит обрывками в воображении, ленивым краешком воли пытаешься вызвать их: епископа Альберта, папу Иннокентия III, братьев-рыцарей, их врагов. Что-то видится: поступь, одежды, мокрый парус, тонкие нетерпеливые лодыжки лошадей. Но вместо лиц — темноты, неясные провалы. Нет, не достать до них — далеко! А они — Иннокентий III, епископ Альберт — достают до нас, дотягиваются: живем в мире, устроившемся так, а не иначе в том числе и их заботами.

Ох, что уж. Начали доставать и мы до них. Все рьяней, все непоправимей. Убивая и торопливо ошкуривая землю, обесцениваем все, из-за чего копыя ломали сто поколений, вымываем почву из-под их ног, из-под костей, из-под смысла преступлений и подвигов, а ведь не всегда, но был смысл!

Однако ж — не о том я . . .

Я желал бы выбрать в той семисотлетней, семьсотпятидесятилетней дали, и еще чуть-чуть отступив . . . отыскать два лица, девичье и мужское. Среди язычников, уже хлебнувших лиха, но не покорившихся, смелых и переполненных жизнью, еще сродненных с лесными тварями, с богами и духами балтийских берегов, еще соединенных с природой видимой и невидимой тысячами таких связей, о которых мы уже и не помним. Молодость кипит в них; догадка о человеческом бессмертии для них не догадка, а простое и веселое знание, входящее в состав духа и тела. Мне нужны эти двое, не другие. Опасность горючит и влечет их, как праздник. Кровь их должна течь в жилах быстрее, напор и состав ее должны отличаться от среднего. Это потому, что ручью этой крови далеко бежать, через двенадцать и больше поколений, и нужно не ослабеть, не остудиться, не оскудеть, а в первозданности, в той же густоте и силе донести себя до младенческого тельца моего героя, и дальнейшее будет делом его роста и понимания, там-то мы разберемся, с Божьей помощью. Мне нужны те двое, что пробьют сквозь века и дичайшие препятствия эту свежесть, первость и самость древнего языка и народа, пришедшего в Балтию вслед за отступавшим ледником, за первопоселенцами из числа трав, деревьев, птиц и животных.

Как должны любить друг друга эти двое и все те в цепи, все за ними, как впитывать картины и звуки, соки земные, воздуха, мглы, свет звездный, ночной и поштучный, и дневный, снопом; запахи пищи и воскурений, и волка, и пса, и врага, и милых волос, земляники на солнце, борьбы и соитий, дождей, яркой радуги (радуга пахнет озоном), как бесповоротно должны быть вовлечены в заговор холмы и луга, болота, особенно реки: для них-то все наши столетья — не время, а впрочем, кто их об этом спрашивал? Но цепь золотая, звено за звеном, оттуда сюда, для того и куется, чтоб все сохранялось как было, однако же с прибавленьем всего, что случилось потом. Однажды все это: земля, и язык, день и ночь, боги, духи, друзья и враги, свет и мрак — не всеобщий, а здешний, он пахнет песком и сосновой корой, морем; серыми валунами, отдающими ночью дневное тепло, — назовется, найдет выражение в слове и мысли, в духе — да, главное в этом мучительно ищущем духе. И народ — не всадник,

оседлавший прибрежные дюны; скорее уж это кентавр, народ и земля (потому-то все равно куда ранить, все равно куда бьют: по народу ли, по земле; неправильно было бы сказать, что «больно обоим»; каким «обоим»? — когда перед нами одно). И народ, давно уже сросшийся с телом и духом отчизны, однажды вдруг видит себя, осознает протекшее время как часть, входящую в семья растений, в состав земли и воды. Все вместе оказывается чем-то, что вызрело в новое слово. Такое, какого и не было и быть не могло, поскольку другие слова вызревали иначе, и в землях, и в клетках других, по-другому, в других языках и под кожей другого оттенка, в глазах совершенно другого разреза. Но слово и, если хотите, входящее в слово прозренье нуждается в слове другом и в прозренье соседа, другого, и третьего тоже.

У муравьев по-своему, у пчел — по-своему, но так у людей, у народов: поколения хлят младенца, который придет, и обкатывают, и строгают и точат язык, которым однажды и будет сказано то, чего нельзя не сказать. Поэт и художник храним, и родившие и передавшие все, без чего он не сможет, сильны и хранимы, поскольку земле и народу однажды назначено это: разрешиться от немоты. Сказать, заявить о себе. И о мире. О звездах. О Боге. О том, для чего они были и есть. И если ответ будет: ни для чего, — то и он должен быть дан. И так же со всеми людьми, всеми вместе: со всеми отчизно-народами, стадом кентавров.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Ты куда собрался, Ян?

В Египет.

А-а, вон оно как. До Египта неблизко, чай верст пятнадцать будет. А надолго ль?

Надолго. Надо-о-олго!

А что ж ты не радуешься? Ты давай радуйся, парень.

Это невыносимо. Все с ног сбилось — тебя, тебя в дорогу собирают, а тебе хоть бы что, только бы с бродягами лясы точить. Радуешься? Чему? Чему, я тебя спрашиваю? У-ух, достался ж мне братик! Жан, Жанчик... Бесчувственный, слезинки не уронит. Кто с тобой там будет возиться, как твоя Лизе? Ах, малыш, я сама не своя. Иди сюда, братик, не слушай старую ворчунью. Дай я тебя обниму.

Ты не такая уж старая, бываю гораздо старей.

Отпрянула как от медведя. Вот и всегда она так, сестрица Лизе: то чуть не задушит в объятиях, то вдруг оттолкнет тебя, и лицо делается каменное. Я знаю, она лучшая из сестер, она всем пожертвовала для меня, для всех нас. Но что поделать, когда я уезжаю, и лошади уже стоять не хотят, невтерпех. А мама где? Вот она, появилась как всегда неслышно, у нее лицо тоже несчастное, как бы мне тоже не разреветься. Вот папа — он знает, как нужно прощаться. Хлоп по плечу — держись, мальчуган! — и с Богом, к чему лишние нежности? Нежности, они к тому. А лошади уже рванули, лошади — замечал ты? — никогда не оглядываются. Вот оно, оказывается, каково — отрываться от своих. Тебя выдернули из дому, как редьку из грядки, и все, брат, прощай. Сердце прыгнуло туда, к ним обратно, а там уже никого. Домашние помахали-помахали руками и разошлись: осень, у всех работы хватает. Где старый Пликшан, там всегда и всем

работы хватает; как это они еще выбрали время с тобой попрощаться. У кого щеки были сухие, у кого мокрые.

А это чей голос? Верти не верти головой, не видать никого.

«Бедный странник! Бедный маленький ссыльный!» — раздается над самым ухом мальчика напевный, теплый, темный голос. «Почему же бедный? — сухо прошелестело рядом. — Почему же ссыльный?» — «Потому что у него уже никогда не будет родного дома».

— До-ома . . .

— О-ома . . . — передразнило какое-то странное эхо и растаяло. И звуковой просвет, форточка незримая, открывшаяся незнамо куда, захлопнулась.

Янис протер глаза, и напрасно: они-то при чем? Виноваты уши: дурака валяют, слышат то, чего нет.

Сонм латышских богов — старый Диевс с сыновьями, Перконс, Мать ветров и Мать моря, Мать леса, вѣли — духи предков — все, кажется, были здесь или угадывались, или были здесь и не здесь, — как соответствовало природе каждого.

Многие истончились, как-то подсохли и съезжились за всего лишь несколько веков, иные походили на привидения — где их вчерашняя бодрость и стать? Где их врожденное веселье? Могущество? Даже и еще сравнительно недавно, лет сто назад, латыши по-другому чтили и помнили своих богов, в них искали прибежища от несчастий, не забывали дорогу в заветные рощи, на вершины священных холмов, не скупилась на подношения. Да что подношения! Боги и духи живы, пока в них нуждаются. С тех пор, как явился и в здешних местах Распятый . . .

«Не будем об этом! Не будем об этом! Не будем об этом!»

Не будем . . .

Даже Мать счастья — Лайма — выглядит как богиня печали.

У нас есть наш народ. Пока он не забыл наши имена, не вовсе запмятовал, что они значат, пока дети повторяют за матерью звуки родимой песни, пока жив наш с ними язык, не все потеряно.

Поглядите в глаза мальчику.

Янис, сын Кришьяниса, у тебя голубые глаза.

Знаем, ты будешь молиться Распятому и его невидимому Отцу, но помни: ты наш. Мы пестовали тебя, передавали из одного материнского живота в другой, столь же величественный, округлый как гора, плодоносный материнский живот. Мы вели тебя через цепь продолжающих друг друга жизней; спасали, выхватывали, бывало, из волосатых рук палача, отводили от тебя стрелу и меч, а если ты все-таки умирал, мы тебя воскрешали.

— Лети-лети, искорка, я тебя раздую, — сказала Лайма.

— Бедный странник, бедный маленький ссыльный! — раздался напевный, теплый, темный голос Мары, владычицы смертей и рождений.

— Почему же бедный? Почему же ссыльный? — не голос, а шест.

— Это ты спросила, Мать ветров? Потому что у него никогда уже не будет родного дома.

— До-о-ома . . . О-о-ома . . . — передразнило эхо.

Везла коляску с мальчиком, думается, пара гнедых лошадей.

Почему пара? Одна лошадь в упряжке — несолидно, недостойно ни богатого арендатора, ни его теперь, увы, единственного сына. Да и лошадей поберечь надо, лошади свои — не чужие; позаботиться о них — и они добром отплатят. Так оно и с людьми. Коли хозяин таких простых вещей не понял — считай прогорел.

Домашние звали мальчика Жан, Жанчик. Мы его не будем так называть. Но что было такое имя, что наш герой на него отзывался, знать нужно. Мелочи всемогущи. Булавочный укол, пережитый на пятый день жизни, отзовется через десятилетия чертой характера. Одна улыбка, просиявшая в раннем детстве, через годы, глядишь, удержит на краю бездны, ничем себя, впрочем, не выдав. Так в старинных романах незнакомец в маске спасает беспомощную красавицу от шайки разбойников — и ныряет на много страниц куда-то там в свои ночные леса.

Место, откуда мальчик уезжал в Египет, по-немецки именовалось Беркенхеген. Люди называли его Беркенеле. За девять лет жизни то был его четвертый дом.

Египет — древняя страна, с коей связаны сведения, тоже весьма скучные, о младенчестве другого человека, сына человеческого, как он себя потом любил называть. Тот, другой мальчик, согласно широко распространенным представлениям, рожден за 1874 года до того, как Янис Плиекшан распрощался с домашними и выехал из Беркенеле (и не прежде чем отъехав на версту, перестал оглядываться назад, глянул на дорогу, вздрагивающую толчками вниз, на два гнедых крупа, на струящиеся хвосты, на мускулистые ляшки лошадей, ходящие туда-сюда безостановочно, как паровозные поршни).

Читаем в книге, очень старой: «Се, Ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: встань, возьми Младенца и Матерь Его и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе; ибо Ирод хочет искать Младенца, чтобы погубить Его».

Выслушав Ангела, являвшегося ему не впервые, Иосиф «встал, взял Младенца и Матерь Его ночью и пошел в Египет».

«По смерти же Ирода, се, Ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит: встань, возьми Младенца и Матерь Его и иди в землю Израилеву; ибо умерли искавшие души Младенца».

И в том же Египте задолго до Рождества Христова, в тех опрокинутых веках, где время исчисляется как бы вспять, не прибывая, а убывая ближе к наблюдателю . . . в каком-то вообще другом времени, протекавшем как-то иначе и — кто знает — не стоявшем ли почти бездвижно? . . . — герой еще более древних преданий и верований, ветхозаветный Иосиф, проданный родными братьями израильтянам за двадцать сребреников, оказался в рабстве в Египте.

История Прекрасного Иосифа была уже известна девятилетнему Янису. Первые свои рисунки мальчик сделал еще до отъезда в Египет. Он, кажется, копировал по памяти где-то виденные картинки: рисовал пальмы и пирамиды. Африканские пальмы. Египетские пирамиды.

Латыши особенной религиозностью, похоже, не отличались никогда. Христианство пришло к ним рука об руку с гибелью, говорившей

на чужом и отрывистом языке. Встречались, наверное, между монахами и рыцарями-меченосцами, покорявшими прибалтийские земли, и фанатики веры. Видней и слышней издалека люди жесткие, безжалостно-деловые. Меч несли они в одной руке, крест — в другой, но нередко перепутывали, в какой руке у них что: благословляли мечом, крестом гвоздя и калеча.

Не потому ли и спустя несколько столетий казалось многим: поскрести только что вышедшего из церкви латыша — и неглубоко, под первым же слоем, обнаружишь безбожника или язычника.

К матери Яниса это не относится: она ухитрилась вырасти и остаться женщиной христоролюбивой, богобоязненной. Зато отец, высоченный, сильный, насмешливый, в храм заходил только ради приличия, духовных особ не жаловал. Исключение делалось для пастора Оскара Свенсона — того, что дважды в неделю приезжал за пятнадцать верст, чтобы совершить в Беркенхегенской церкви необходимые службы и требы.

Свенсон с многочисленным семейством жил на берегу озера Лауце. По-латышски местность называлась Вилкамиест. А второе название пастората, необычайное для этих краев, было: Египет.

То был, конечно же, символ и знак для любого христианина. Египет — значит обитель, спасение от опасностей, от всех и всяческих Иродов.

Но и выше вставало и развевалось как флажок имя древней страны, залетевшее так далеко на север. Оно означало, что здешние места не сами по себе, что они приобщены к бездонной истории царств и народов, что этот отрезок времени и пространства принадлежит к длинным запутанным путям человечества, неизвестно когда начавшимся и ведущим в завтра, тоже неведомое.

Тпру, приехали!

Их встречают. Чуть ли не все обитатели дома высыпали наружу.

Сердце колотится.

Пастор Свенсон улыбается ободряюще. Мы ведь старые знакомые, говорит эта улыбка. Ну и нечего пугаться. Я и не пугаюсь, отвечает ему взглядом Янис. Вот и хорошо. Вот и договорились.

В девять лет, осенью 1874 года Янис Плиекшан был привезен в пасторат.

Совсем незадолго до этого, в августе, семеро детей пастора осиротели: их матушка, Элизе Свенсон, скончалась сорока четырех лет от роду. Умерла она после долгой болезни или внезапно? Ничего неизвестно. Может, соседский мальчик должен был помочь пасторским детям пережить свежее еще чувство потери, отвлечь их?

Дети — они и сами с легкостью почти оскорбительной, во всяком случае больно задевающей их отца, забывают печалиться, снова преданы раздражениям и соблазнам текущей жизни: озорничают, ссорятся, жадничают, дразнят друг друга, обижаются; разве только младшие скорее и чаще ударяются в слезы; но и смех, как всегда — тут же, прямо за непросохшей слезой.

Все они, вышедшие встречать нового жильца, наверняка еще в трауре. Взгляды однако же встречали Яниса — ручаюсь — горящие любопытством; никто его наверняка и не думал скрывать. Нет загадочней новизны, вступающей в дом вместе с чужой судьбой. А то, что приезжий на сей раз — маленький . . . Маленький-то — да, но за ним

и все большие стоят; он вроде посла от другой державы, поди тронь его — за полтора десятка верст отзовется, чем и как, неизвестно, но — отзовется, это уж точно.

Смешно: кто ж его «трогать» собирается?

Два старших сына отсутствовали. Старший, Карл, был уже взрослый и жил отдельно. Шестнадцатилетний Эмиль учился в гимназии в Риге. Рудольф тоже был много старше Яниса, на четыре с половиной года. А вот уж дальше пошли его товарищи: Оскару — десять лет, Эрнесту, так же как и Янису, девять, Берте — восемь, Феликсу — семь.

Почти всегда Янис был один среди трав, деревьев, животных, птиц, взрослых людей. Может быть, сейчас его одиночество кончится. Он и надеется на это, и трусит ужасно, так что коленки дрожат и ноги плохо держат, сгибаются. Не дай бог, кто-нибудь заметит.

Девочка заметила. Взглялась уже его передразнивать. Изобразила, что коленки у ней дрогнули, ноги подогнулись и . . . книксен, это она делала книксен.

Никто никого не передразнивает. В первый-то раз. Мальчики кланяются, не очень умело.

Кланяется и Янис. И думает мучительно: так ли он поклонился? Не слишком ли гордо? Не слишком ли старательно? Правильно ли, что он поклонился только один раз: заодно и девочке, и пастору Свенсону, и мальчикам? Не смеется ли кто над ним? Нет, кажется ни один не смеется.

Мама сказала однажды: ты умрешь когда-нибудь от своей дурацкой гордости! Нет, думал он молча. Умирать? Это не для меня. Нет, мама, разве вы не знаете? Я ни за что, никогда не умру, не хочу, чтобы вы плакали.

Кони, что привезли его, могли быть и не гнедыми, а, скажем, серыми в яблоках. Ученые люди не поленились, подсчитали, сколько раз в народных песнях—дайнах — упоминаются лошади той или иной масти. Оказалось: гнедые — 2411, серые — 1246, вороные — 470, серые в яблоках — 166 раз.

Песни латышские короткие, чаще всего в четыре строки. В одной говорится, как на закате приезжает брат на красивом, сером в яблоках коне и говорит сестренке: отведи его на ночь не в луга, а в яблоневый сад.

Биограф Райниса, Антон Биркертс, записал со слов поэта: «Отец был большой любитель лошадей. Он держал красивых коней для выезда. И у меня была слабость к лошадям, я очень любил ездить верхом».

Латышские художники, скульпторы столько раз изображали Райниса. И ни одному, кажется, не пришло в голову изобразить его верхом на коне.

А если бы решился кто-то, если бы, изображая уже немолодого Райниса, художник сохранил бы портретное сходство, мы увидели бы Дон Кихота верхом на Росинанте. Да и без всякого Росинанта . . . — шестидесятилетний Райнис напоминал Дон Кихота, соседнего с иллюстраций Доре. Достаточно посмотреть кадры кинохроники двадцатых годов: Райнис, вернувшийся в Латвию из эмиграции. Высокоченный, худой, нескладный. Добрый. Трагичный.

Приехав в Египет, в первый вечер, длинно-длинно вытянувшись на чистых, пахнущих древесным углем простынях, он во всех подробностях помнит годы и дни предыдущей, только что оставленной жизни. Кое-что помнит словами, другое — осязанием, третье — чутьем, почти равным чутью молодого зверька; помнит кончиком языка, его вкусовыми пупырышками; помнит внезапной, давно пережитой болью, горением щек, вспыхнувших когда-то от стыда, помнит отдельной памятью ног и рук и, конечно, синих глаз, все эти годы ненасытно распахнутых, поглощающих мир с такой жадностью, как будто его через минуту отымут.

Он помнит много такого, что скоро забудет. Забудет напрочь — во всяком случае, никогда не вспомнит умом. Просыплются, как сквозь худое решето, сперва мелкие, а потом и все более крупные происшествия и события его детской жизни, те самые, что лепили его податливую душу. Сейчас это все еще в нем присутствует, переливается, сверкает, — завтра же соперничество и дружба, новый мир и, главное, буквы, печатные строчки и чужой, громадами скопленный в них опыт вытеснят все предыдущее. Оттеснят — в самую дальнюю глубину, откуда почти что и не достанешь.

Потом мы пойдем вместе с ним этой неминуемой дорогой. Но прежде нужно обратиться к началу. К самому началу — только знать бы, где его искать, где оно?

Райнис не раз думал написать о себе сам. В январе 1919 года занес в дневник вот какие слова: «Я взялся было писать свою биографию и запнулся тут же, на первом слове: когда же она начинается, жизнь каждого из нас? И моя? Моя жизнь? Когда я появился на свет. Но разве я не жил и до рождения? Закон — и тот признает, что еще не рожденный живет, и жизнь его уже так значительна, что защищена от возможных посягательств угрозой сурового наказания. Древнейшая поэтическая философия прозревала еще более далекие истоки всякой жизни, видя в каждом рождении — возрождение . . . И новейшая прозаическая наука знает, что в короткие девять месяцев перед рождением каждый человек проходит через тысячелетия, может быть — десятки, сотни тысяч, а то и миллионы лет, уходит дальше, чем Вечный Жид, дальше, чем Годо, что является раз в тысячу лет взглянуть на мир. А еще не родившийся человеческий детеныш не разглядывает издали, нет — он проживает самолично историю вселенной с ее первых дней, воплощается во все образы, какие только способна создать жизнь в своей безудержной фантазии; ребенок сам подобно оборотню побывал сотни раз растением, превращался в рыбу, пресмыкающееся, головоногого моллюска, перечувствовал ощущения всех созданий и тварей, узнал, каково дышится и растениям и рыбам, прежде чем стать человеком.

Так когда же началась моя жизнь? И не растворяется ли она окончательно в этом всемирном круговороте, не превращается ли сама в сказку?»¹

Самое раннее воспоминание поэта Райниса связано с Таденовой, с тем домом, где он провел первые три года жизни. Вместе с няней

¹ В случаях, когда не указывается имя другого переводчика латышского или немецкого текста, перевод сделан мной. — Р. Д.

он греется на солнышке. У забора где-то. Вот и все. Никаких других подробностей. Их и не нужно.

Тогдашнего, поделенного с няней солнца хватило на шестьдесят с лишком лет. Оно все время угадывается в глубине, даже неупомянутое. Но и упоминается постоянно. Кого раздражает слово «солнце», то и дело возникающее в райнисовских стихах, тот пусть знает: это не «солнце вообще», это солнце 1867 или 1868 года, светившее в Таденаве, согревавшее мальчика трех лет и его няньку.

Мальчик умел впитывать свет и тепло так, как будто приходился солнцу родным сыном. Солнце у латышей — женского рода: она. Впитывал свет, как материнское молоко.

Верстах в ста пятидесяти от Таденавы, хотя, впрочем, версты эти ни тогда, ни позже никто не считал, жила на хуторе Даукшас девочка, родившаяся в том же 1865 году, несколькими месяцами раньше Яниса Плиекшана. Ровесников, девочку и мальчика, разделяли не только версты, но и годы: двадцать восемь лет, которые им предстояло прожить независимо друг от друга. Потом они встретятся, станут мужем и женой.

Первое впечатление, оставшееся в памяти девочки, она тоже опишет многие годы спустя. Опишет так подробно, что невольно закрадывается подозрение: что-то здесь домыслено. Не нарочно. Это как сон: вспоминаешь его и уже невольно добавляешь связки, детали, подпорки, в которых сон не нуждался, ведь там без необходимости наши вечные «оттого», «потому что», — сон прекрасно обходится без причин и следствий, а над логикой смеется. Верней сказать, у него своя логика.

Девочку звали Иоганна Эмилия Лизете. Так записали при крещении, — у лютеран принято давать ребенку два-три имени, — но в доме ее называли проще: Эльзой. Когда ей исполнилось . . . она пишет, что исполнился год, но мы будем осторожнее и скажем: однажды . . . Однажды девочку в первый раз вынесли на улицу. «Самое первое мое впечатление — ветер. «Чье это дыхание, такое большое, сильное, веет в лицо? Кто это дует и почему я не вижу его? . . .» Солнце меня не так поразило: ветер мне больше нравился, и он как бы заполнил меня, всю, без остатка. Посмотрела я и вверх — что там такое блестящее, желтое, — но меня ослепило, огненные круги пошли перед глазами, и больше я туда не смотрела».

Это все равно, говорит ли вспоминающий о себе чистую правду или что-то присочиняет. И в правде, и в выдумке, и в умолчании он выражается с достаточной определенностью. Нужно только уметь вслушаться.

Мальчику запомнилось солнце.
Девочке запомнился ветер.

Случай, известный со слов старшей сестры Яниса, Лизе.

(Кстати, у мальчика было два имени, второе — такое же, как у отца. Янис Кришьянис. Потом второе имя потерялось. А у девочки потерялись, можно сказать, все три. Потом у того и у другой потеряются и фамилии.)

Так вот, случай-то.
Мальчику года два?

Он сидит на траве, веточкой помахивает.

Двор крестьянский. Хотя арендатор Таденавы представляется себе едва ли не помещиком.

Мальчик не замечает внимательного, круглого и злобного глаза, поглядывающего на него.

Что бы такое вспомнить? Орел, похищающий Ганимеда? — нет, не то. Птица, громадная, встопорщенная, страшная сваливается невесть откуда на ребенка. Мальчик вступает в схватку. Не сам сн — а жизнь, трепещущая в нем, не желающая гибнуть так рано, сопротивляется. Со стороны — если было бы кому взглянуть со стороны — это, наверное, напоминало игру. Они почти одного роста: крупный, старый красивый кочет и схватившийся с ним ребенок.

Ветка, что ли, раздрадила птицу? Кто видал петушьи бои, тот может себе представить, что противник у мальчика был нешуточный. Дитя человеческое безоружно. Враг — вооружен железным клювом, когтями, шпорами.

Глядя сверху, издалека, можно посмеяться. Подумаешь, битва богатыря с драконом. Глядя ровень, убедиться: да, битва.

Петух — ну да, обыкновенный, старый, голенастый и жилистый петух напал на Яниса. Его старшая сестра убеждена: не подоспей она в последнюю секунду, и разъяренный кочет искалечил бы мальчугана или заклевал до смерти. (И жутко думать, что через несколько лет сама спасительница нападёт на своего любимца в слепой ярости, что она в воспитательском раже нанесет ему удары, следы которых не удасться заживить никогда.)

Сам-то Янис сражение с петухом не запомнил. Память, должно быть, выталкивала вон даже малейшее напоминание о той опасности. И чем старательнее выталкивала, тем упрямей выталкиваемое возвращалось в обличии совсем других — внешне — тревог, страхов, снов.

Что там с нами было в наши два года, читатель? А что бы ни было, оно с нами и есть, никуда не делось. Отзывается, вспыхивает в необъятной, космической глубине клеток, и чаще всего никто не в силах догадаться: что там отозвалось, что вспыхнуло.

Не мог помнить Райнис и своих двух братьев: Сприцис и Карлис родились и умерли до его рождения. Дети умирали часто, до взрослых лет в крестьянских семьях доживал лишь каждый второй. Но и зная это, и видя десятилетиями, как то к одним, то к другим соседям заявляется костлявая, как, отворотясь вдруг от стариков, обращает бездонный гнилостный взгляд на свежее личико младенца . . . все зная, все понимая, люди не умели примириться с потерей, не говоря уж — привыкнуть. Правда, внешне латыши никак не выказывали свое горе; немецкие господа, в которых жесткость уживалась отлично с сентиментальностью, содрогались от их «бесчувственности» . . .

В первые годы жизни, когда почти бессловесный ребенок чуток по-звериному к настроениям и погодям, когда окружающее прямо сказывается на нем и мелочи увеличиваются внутри него, точно под лупой, и все складывается про запас на дно котомки, из которой поздней будут доставаться или сами выныривать свойства ума, характера, — Янис Пликшан должен был ощущать тоску родителей, их скорбь по умершим детям. Ничего этого он потом тоже не помнил, помнить ему и не полагалось, — выходить в дорогу следовало на-

легке, без груза. Груз никуда не делся, прятался в нем, приплюсовавшись ко многому, что там уже было.

Насколько же легче зверенышу, птенцу! Щенок ни за что не в ответе. А ты, человек, будешь расти вместе с долгами, скопившимися за тысячу лет, — и все мертвецы твоего рода молча взывают: будь тем, чем мы так и не стали; вбери наши жизни, взвали на себя наши вины, найди тайный знак в надеждах, как будто лишившихся смысла. Тебе нужен ключ? Вот он: с л о в о. Оно родилось прежде нас, умрет после вас: усвой, пойми, вырази.

Четыре года мальчику. Семейство переезжает. Он на всю жизнь запоминает эту дорогу. Не все подряд — но все, что нужно. Увидел по пути в лесу пни, показалось, что они шевелятся. Принял за животных.

Еще запомнилась река, Даугава.

Рядом с ней он теперь будет жить. Потом, через много лет, назовет себя сыном Даугавы. И это сравнение, как и предыдущее, не будет выдуманным. Человек ведь рождается не однажды. Сперва мать родила его, Дарта. А потом, через годы, он оторвется от Даугавы, как от родимого лона.

Янис — сын Кришьяниса, сын Дарты, сын Даугавы (есть, есть еще на земле такая река).

Сельские работники в этих краях кочевали. Снимались с места обычно в Юрьев день, вместе со всем семейством двигались из одной волости в другую, разузнавали, где есть нужда в людях, каковы условия найма. Оставались, заключали договор с помещиком, арендатором или владельцем хутора; бывало, что уходили дальше через год, бывало, что и оставались надолго, сживались с хозяевами.

Кочевали и арендаторы. Минимальный срок на аренду был шесть лет. Выжимая все возможное из одного хозяйства, арендатор исподтишка присматривал уже кусок полакомей, пожирней . . . Это кому везло и в ком обнаруживались необходимые таланты; кому не везло — шли на дно, чаще безропотно, чем ругаясь и богохульствуя. Впрочем, что ж там, на дне? Такая же работа, если ты не махнул на себя рукой, — а к работе латыш привычен.

Рандене на берегу Даугавы — добрая усадьба. Обширное землевладение, вместительные хозяйственные постройки, а дом такой, что и средней руки дворянину впору. За широкой рекой, на том берегу — Динабургская крепость; из-за ее мощных стен наверняка хорошо видна усадьба и все ее окружение, а в подзорную трубу можно разглядеть небось и каждого ее обитателя в отдельности, включая собак, гусей, кур.

Рандене, кажется, создано было для того, чтобы выпестовать однажды поэта. Два потока струились мимо дома: с одной стороны — река, с другой — дорога. Казалось, никогда не замирает ни та, ни другая. Может быть, дорога ночью и пустела, и умолкала, но это случилось, значит, после того, как Янис засыпал, и до того, как он открывал глаза утром. И выходило, что дорога жила всегда: долгие промежутки тишины лишь обостряли слух, и опять раздавался скрип колес, дребезжание пружин и рессор, слышались обрывки разговоров, выкрики, песни, смех; мелькали розовые, желтые, серые лица, узлы,

посохи; лошадиные копыта выдавали глухую дробь, подкова вдруг звонко ударялась о камень. Шли и ехали мимо батраки и господа, солдаты, цыгане, белорусы, латгалцы, важные немцы, евреи, литовцы, поляки. Дорога разворачивалась перед глазами: нескончаемый свиток, в котором каждое слово новое, но как будто и слышано где-то раньше.

Река поближе к Рождеству замерзала, тогда по льду ходили и ездили. Весной Даугава разливалась, и эти две недели половодья Янис, увидев однажды, ждал и любил: что-то в нем самом разливалось в эти дни так же широко, так же необозримо и вольно. Вода, бывало, отовсюду окружала их, обитатели Рандене делались островитянами. Однажды он увидел плавающее за кустом свиное корыто — и в ладоши захопал: теперь у него будет своя лодка! И, отталкиваясь и правя шестом, путешествовал потом по ручьям и канавам, по лужам и целым озерам, от которых вскоре не оставалось и следа; только трава в местах, куда по весне заглядывала река, росла темнее и гуще.

Летом по Даугаве сплавляли плоты; плотовщики были чаще всего белорусы (их еще звали гуды); если отец задерживался где-то дотемна и все ждали его, то и Янису удавалось иногда не спать и ждать вместе со всеми. Тогда все на свете делалось другим. Звезды горели вверх. На плотях жгли костры, пели. Голоса раздавались над рекой гулко, тоже не по-дневному. Становилось зябко, и очень много звуков, скрипов, посвистов не удавалось разгадать, днем они никогда не повторялись. Сон набегал, туманил, сдвигал и растягивал события, проглатывал какие-то минуты, и шаги и бодрый голос отца вдруг выныривали, как из омута.

Таинственная работа жизни, происходившая всегда в его жилах, в груди и в животе, вызывала в нем острый интерес. Он обо многом спрашивал, не на все получая ответы. Мир уже начал разделяться на «можно» и «нельзя», «чистое» и «грязное». Слово «стыд» возникло в пестрой толпе первых понятий и быстро выделилось. Стыдно было ковырять пальцем в носу, стыдно было быть без штанишек, стыдно подходить к батрацким детям и играть с ними. «Неужели ты не понимаешь? Они в навозе копаются». Всему, что сказано так рано, приходится верить. Ведь эти же самые люди вложили в тебя первые слова, научили маму называть мамой, реку — рекой.

Да впрямь ли так и было? Неужели Кришьянис и Дарта, в молодости небось перетаскавшие этого самого навоза не меньше любого батрака, запрещали своему сыну подходить к детям испольщиков и работников?

Да, все правда. Формула взята из воспоминаний близких людей, можно было бы перевести ее помягче, но смысл остался бы тот же. Не водись с ними, они грязные. От них навозом разит.

Дочь хуторянина, его ровесница, так вспоминала об этом. «Во двор меня не выпускали, хотя листья уже зазеленели. После болезни можно опять простудиться. А потом — мое нарядное платьице, мои мягкие туфельки, — а там, за порогом, слякоть, ветер и грязные батрацкие дети.

Это чувство превосходства: я — хозяйская дочь! — как бы смешно оно ни выглядело, как бы ни была ничтожна разница между хуторя-

нином и работниками в глазах, скажем, владельца помещицкой усадьбы, — этот убогий «аристократизм» был не то чтобы мне привит, а казалось, врожден, впитан с молоком матери. Наши работники между собой величали меня н а с л е д н и ц е й, — и уж это слово я не пропустила мимо ушей».

Большая река и большая дорога.

И одинокий, очень одинокий ребенок. К этим временам относится такое воспоминание: зима, и он долго-долго, часами лежит на льду и смотрит: там, в глубине, течение шевелит водоросли. Лежал ли он действительно часами на льду? Сомнительно. Кто-то наверняка приглядывал за ним: ребенку пять лет! Не дали бы лежать на льду часами. Но так запомнилось. Такое длинное, протяженное во времени впечатление. Толща льда, прозрачная и, наверное, голубоватая. И там, за ней, — зеленые и бурые, змеящиеся, дышащие травы. Первое зрелище, первое окно — из одной жизни в другую.

Следующий эпизод уже запечатлен и подтвержден памятью других. Родителям Яниса было за сорок, когда хозяйка Рандене снова забеременела. Ни сама она, ни Кришьянис Плиекшан, по-видимому, не ждали этого события: в доме не оказалось даже колыбели. Малыш, которому было сказано, что скоро у него появится брат или сестренка, засуетился. Он тащил отовсюду деревяшки, доски, гвозди, куски веревки — все, что казалось ему подходящим для того, чтобы изготовить люльку.

Родилась девочка, ее назвали Дорой.

Он любил ее уже заранее. И потом все детство, всю юность напролет эта братняя бережная любовь окружала девочку.

Дора стала и любимицей отца. Как сказано в писании: отец «. . . любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его; и сделал ему разноцветную одежду».

Дора была мила Кришьянису Плиекшану, потому что она была «дочь старости его»: последнее дитя, точно подарок, неожиданный и оттого вдвойне дорогой.

В Рандене мальчик провел пятый, шестой, седьмой годы жизни. У отца с матерью было много работы; кроме того, мать сперва вынашивала пятое свое дитя, потом кормила, нянчила, занятая, конечно, маленькой больше, чем Янисом. Лизе в это время шестнадцать, семнадцать. Она учится, помогает матери по хозяйству, мурлычет про себя польские песенки. Боюсь, что и ей в это время не до Яниса. Она займется им немного позже.

Впечатлительность — первое, что хочется сказать об этом ребенке. Впечатления поражают его непоправимо. Внешний мир часто наносит ему раны. Да ведь он ранит или царапает с утра до вечера каждого; задевает, царапает, ранит — как без этого? Не на все же внимание обращать: царапина завтра заживет, рана затянется. . . То-то, что многие из его ран оказывались незаживающими. Это натура, это характер такой.

Без памяти человека нет, все знают. Реже вспоминаем, что память ходит рука об руку с забвением. Память оказалась бы ни к чему не годной свалкой, если бы не наша способность забывать.

Есть счастливы, выбрасывающие из памяти легко и навеки

вчерашнее волнение, несчастье, даже страсть. Райнис забывал трудно. Он был и злопамятен: задетый кем-то, обиду лелеял, хранил. Но злопамятство — лишь частный случай его вообще памятности на впечатления. Были, конечно, вещи, которых он не замечал, которые пропускал мимо ума. Но если уж замечал, то они в нем оставались, застревая на десятилетия. Почему нет в русском слова «добропамятство»? Оно бы здесь тоже пригодилось. Памятность на зло и добро, на красоту и ее противоположности. Красота тоже наносила раны, жгла, и след оставался — не такой приметный, как шрам на щеке от петушиного клюва, но тоже неизгладимый.

У матери была старинная Библия: вделанная в складень из двух деревянных крышек, обтянутых кожей; еще книга — песни божественные — заключенная в красный сафьяновый переплет. Обе книги нравились и притягивали уже тем, что они такие огромные.

Дело было весной. Родители собирались в гости — на ту сторону реки, в Динабург — и обещали взять с собой сына. Ему хотелось в гости. А хотеть, желать чего-либо он не умел умеренно, понемножку: всем существом бросался в желание, как голый ныряльщик в воду; чем ближе было ожидаемое, чаемое, тем нестерпимей казалась малейшая отсрочка.

А тут — половодье. Даугава разлилась раньше времени, спутав все планы. Перебраться через пятиверстную ширь нечего было и думать. Возделенная поездка срывалась. Когда Янис понял это, он скорчился от горя. . . И вот, тайком от взрослых, уйдя подальше от всех, за амбар, он стал молиться Богу. «Боже праведный, Боже милосердный и всеильный, милый, добрый Боженька, Ты можешь все; молю Тебя: сделай так, чтобы вода пошла на убыль, помоги нам поехать в гости; Боже, внемли моей молитве, Ты не откажешь, я очень, очень Тебя прошу!»

И много еще чего, горячо и бессвязно, говорил он; и вся его, крохотная с высоты небес, фигурка превратилась в молитву, так что не увидеть и не услышать ее сделалось уже нельзя. И дрогнуло огромное зеркало паводка, дрогнули все тысячи облаков и деревьев, домов, лодок, звериных и человеческих лиц, отраженных в нем, дрогнула вся растворенная в нем синева, и вода отступила от последней завоеванной ею черты.

Янис был потрясен. Ответ дан так просто, так прямо, чудо явлено столь осязаемо, столь неоспоримо, что мгновения этого хватило на много лет. «С тех пор я твердо держался веры, старался всегда говорить только правду, вообще исполнять все заповеди. Христианский идеал казался мне достижимым. С этой верой я жил до пятнадцати лет».

Из заповедей, которые старался соблюдать, и не только до пятнадцати лет, Янис Плиекшан.

Не сотвори себе кумира.

Не произноси имя Господа, Бога твоего, всуе.

Почитай отца твоего и мать твою.

Не убий.

Не прелюбодействуй.

Не кради.

Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.

Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его, ничего, что у ближнего твоего.

Соблюдение этих заповедей, порознь и в совокупности, давалось, может быть, Янису Плкэкшану легче в шесть лет, чем позднее.

В его горячей вере было, конечно, много путаницы; воспринятая от латышской крестьянки, она, эта простодушная вера, была вся перевиита представлениями сказочными, верованиями дальних предков, народными приметам и суевериями. Бог говорил с Янисом и слушал его пылкие молитвы по-латышски, и не сердился, когда его в полусне перепутывали нечаянно с старым языческим Диевом, Отцом людей и богов, а мать Иисуса Христа, Пречистую Деву Марию — с таинственной Марой, помогавшей в дымных и жарких хуторских баньках разродиться каждой латышке, если приспело ее время, и удивившей всех, от младенцев до стариков, кому суждено было уйти — туда, за Солнце, к Солнцу другому, ей видимому, а смертным — нет.

Янис и говорил и думал об Ангелах Божьих, но хвостатые и рогатые черты почему-то виделись в воображении чаще и гораздо живей. Ого, как дробно постукивали, когда проснешься ночью, их копытца! «Кш-ш-ш! — подлетая сверху и сбоку, махал на них руками и крыльями Ангел-спаситель. — Кыш! Убирайтесь на место!» И они убирались, не очень-то послушно и охотно, дурачась, дерясь и повизгивая на бегу.

А где их место было? Это Янис знал. Райнис: «Летом из радостей радость — озеро и луг. Меня оттуда было не дозваться. На том конце луга стоял сенной сарай и старая-престарая рига. С ними связаны воспоминания. Там я пропадал, бывало, подолгу, особенно в середине дня, когда везде странная тишина, и жуть какая-то разлита в воздухе. С этой ригой, с тогдашними впечатленьями прямо связана моя пьеса „Я играл, я плясал“».

Пьеса сочинялась в разгар первой мировой войны, в 1915 году, в Швейцарии . . . через сорок пять лет после тех вылазок маленького Яниса в жуткую, звенящую тишину полуденного луга, на конце которого зияла чернотой приотворенных ворот древняя рига. Холод внутри полуденного пекла, тьма посреди света; маятник сердца то ли в горле, то ли в ушах. Ты крепишься сколько можешь, но вдруг страх подхватывает тебя, как вихрь пушинку, тащит и выбрасывает к родному порогу — полуслепленного, полузадохшегося. Ты никому не расскажешь, но сам-то знаешь навеки: сила, вышвырнувшая тебя, не почудилась, была, и какая ж это темная, подземельем дышащая, мертвая снаружи, а с изнанки живая сила!

Там, через десятилетия, в Швейцарии, много раз заглянув за грань последнего ужаса и отчаяния, измученный многоликостью и живучестью зла, истерзанный тревогой за свой погибающий народ, Райнис обратится к древним мистическим учениям, к тайнам восточной магии, переплетенным с философией, астрологией и поэзией. В трудные для него и его родины дни он будет даже заказывать гороскопы у профессора в Париже . . . Вечерами в чуткой вздрагивающей полутьме латышский изгнанник будет вызывать в свою комнату духи умерших: Наполеона, Гете; отца с матерью . . . и — живых, чтобы допрашивать их снова и снова: что будет с Латвией? Что будет с моим народом? Что мне делать?

Впрочем, что ж пересказывать, когда есть свидетельство самого Райниса. . . В огромном архиве поэта мне попались расшифровки тех записей, которые в 1919 году делал Райнис по ходу тех самых спиритических сеансов. (Почерк Яна Райниса, на мой взгляд, совершенно неразборчив, и сотрудники литературного музея в Риге годами занимались расшифровкой его рукописей. Для меня остается загадкой: как прочитывала эти изощреннейшие закорючки Аспазия? Как справлялись с этим другие адресаты его писем? Впрочем, бывало, что для посторонних он специально писал поразборчивее. Кроме того, без особого труда можно прочесть письма, которые в тюрьме он вынужден был писать по-русски.

И еще шаг в сторону, — отступление.

Почему вдруг вклинивается в XIX век — девятнадцатый год века двадцатого? В раннее детство — голос 54-летнего поэта?

Объяснюсь. Я привязан к естественной последовательности реально происходивших событий, к тем сюжетам, которые выстраивает сама жизнь день за днем, не пропуская и часа и не забегаая вперед, так что только беззвучные зарницы из прошлого и из грядущего намекают на дальнейшее, да вздрагивания и странный гул, вдруг напоминающий, что внутри Земли, у нас под ногами — пылающая топка, лава всех будущих извержений.

Но и фактическая одновременность всего прошлого, теснящегося в сознании, меня как автора и хрониста не может оставить равнодушным. Я знаю будущее тех давно минувших минут — будущее, о котором они и не догадываются; оно, неведомое для них будущее, наряду с ними самими — для нас в прошлом. Я не могу объяснить, почему бывает необходимо одно из времен перебить другим. Можно, в конце концов, считать это проявлением авторского произвола: хозяин — барин. (Но я-то знаю, что и не барин, и не хозяин.)

Итак, Швейцария, местечко Кастаньола возле Лугано. Январь 1919 года. Кончилась первая мировая война; два месяца назад в Латвии провозглашено независимое государство — об этом поэт, эмигрировавший тринадцать лет назад из царской России, должен уже знать. Но, кажется, ему неизвестно еще, что его сестра Дора с мужем, Петерисом Стучкой, уже в Риге. Стучка, его товарищ по гимназии и Петербургскому университету, через неделю будет избран председателем правительства советской социалистической республики (почетными членами Центрального исполнительного комитета Латвии были выбраны Ленин, Свердлов . . .). Недолго, пять неполных месяцев, продержится в Риге и в Латвии эта власть и ее глава, вечный друг-соперник, спутник и антипод, родственник и политический оппонент Райниса.

Думая о родине, о судьбах своего народа, намертво переплетенных с его судьбой, Райнис то и дело обращался мыслями и к сестре, и ее могущественному мужу, от которого теперь, сперва в России, потом в Латвии, зависела жизнь и смерть миллионов людей, а может быть — жизнь и смерть народа?

Первая из таинственных записей, сделанных Райнисом. (Сразу скажу: не знаю, кто и каким образом отвечал ему . . . Но кто задавал вопросы — знаю наверняка: это был сам Райнис. И невозможно представить себе форму, в которой откровенней и искренней вырвалось бы все то, что его в тот день и час мучило, жгло . . . Райнис давно уже,

(Продолжение на с. 34)



ПОЮТ ЛАТЫШИ

Латыши, как и все прочие народы в этом мире, поют везде и всюду. Трудно представить себе обстоятельства, которые латышу помешали бы петь. Поют, чтобы стало легче. Поют, чтобы согреться. Поют, чтобы выжить.

Латыши поют для себя, а еще чаще для тех, кого природа лишила голоса.

Латыши искренне верят, что хорошо спетая песня может побороть самого лютого врага. В одной из хоровых песен, которую поют на каждом певческом празднике, рассказывается о том, как в старые времена латыши бились с эстонцами и недалеко уже был час поражения. Но тут один пожилой воин ударил по струнам кокле, запел и у эстонцев палицы попадали из рук.

Вот уже много веков латыши убедительно доказывают, что именно дух песни способен спасти народ. У нас митинги Народного фронта и Интерфронта отличаются не только количеством участников, но еще и тем, что почти каждая речь у народнофронтовцев чередуется с песней. Полумиллионная толпа может стать грозной и разрушительной силой, особенно если ее подогреть пламенными речами. Такую толпу не остановят ни черные береты, ни танки. Однако полумиллиону латышей — почти половине всего этого народа, собравшегося на берегу Даугавы, не нужна даже милиция с дубинками, потому что песня делает волнующие речи возвышенными и добрыми. Потому-то на таких митингах я никогда не видел перекошенных от злобы лиц и судорожно сжатых кулаков.

Для латышей хором спетая песня обычно столь же трагична, как пьесы Шекспира. Именно песня без всяких иллюзий сулит им неизбежность грядущих несчастий, готовит их к тому, чтобы мужественно встретить свою судьбу. В песне Раймонда Паулса и Яниса Петерса говорится — скоро наступит пятый год, прольется кровь, и мы: пойдем в стрелки. Песня превращает самое немислимое будущее в грядущие времена судьбоносных деяний.

Песня помогает латышам называть этот уголок песчаной земли своей родиной, невзирая на то, что реки отравлены, источники загрязнены, а колодцы напоминают цистерны химических заводов.

Вот уже многие и долгие века только песня позволяет латышам чувствовать себя гражданами свободной и великой страны. Живя среди разных народов, латыши с помощью одних лишь песен воздвигли вокруг себя прочные стены, и даже нынешняя электронная техника не в силах одолеть границу самобытности между латышами и всеми другими.

Латышские песни ничуть не лучше песен других народов, но эти песни позволяют им оставаться латышами, ибо душа песни непереводаима. Латыши некоторые песни других народов сделали своими, и многие даже не подозревают, что ту же мелодию распевают эстонцы, немцы, евреи, которые также считают эту песню своей, выразительницей своей сущности.

Латыши поют везде и всюду, но наиболее звонко и гордо на своих певческих праздниках. В июле этого года состоится Двадцатый всеобщий латышский Праздник песни. Более чем столетняя традиция. На подобном празднике действительно поет весь народ. Этот праздник для латышей всем праздникам праздник. Поют даже те, кто никогда не поет, поют самые-самые безголосые и которые не запоют до будущего Праздника песни.

За несколько дней до сессии Верховного Совета, на которой, почти как в Литве, большинству депутатов предстояло провозгласить независимость своей республики, меня остановила на улице женщина и стала уговаривать написать статью, которая убедит депутатов не принимать Декларацию независимости до Праздника песни, ибо если Москва объявит нам блокаду, такую же, как Литве, не будет бензина, закроются границы, и Праздник песни может не состояться. Она безоговорочно хотела свободу и независимость только после Праздника песни.

Видимо, латыши единственный на свете народ, который песню и ее праздник ставит чуть ли не выше свободы и независимости. Ибо много долгих веков только песня делала их внутренне свободными и независимыми.

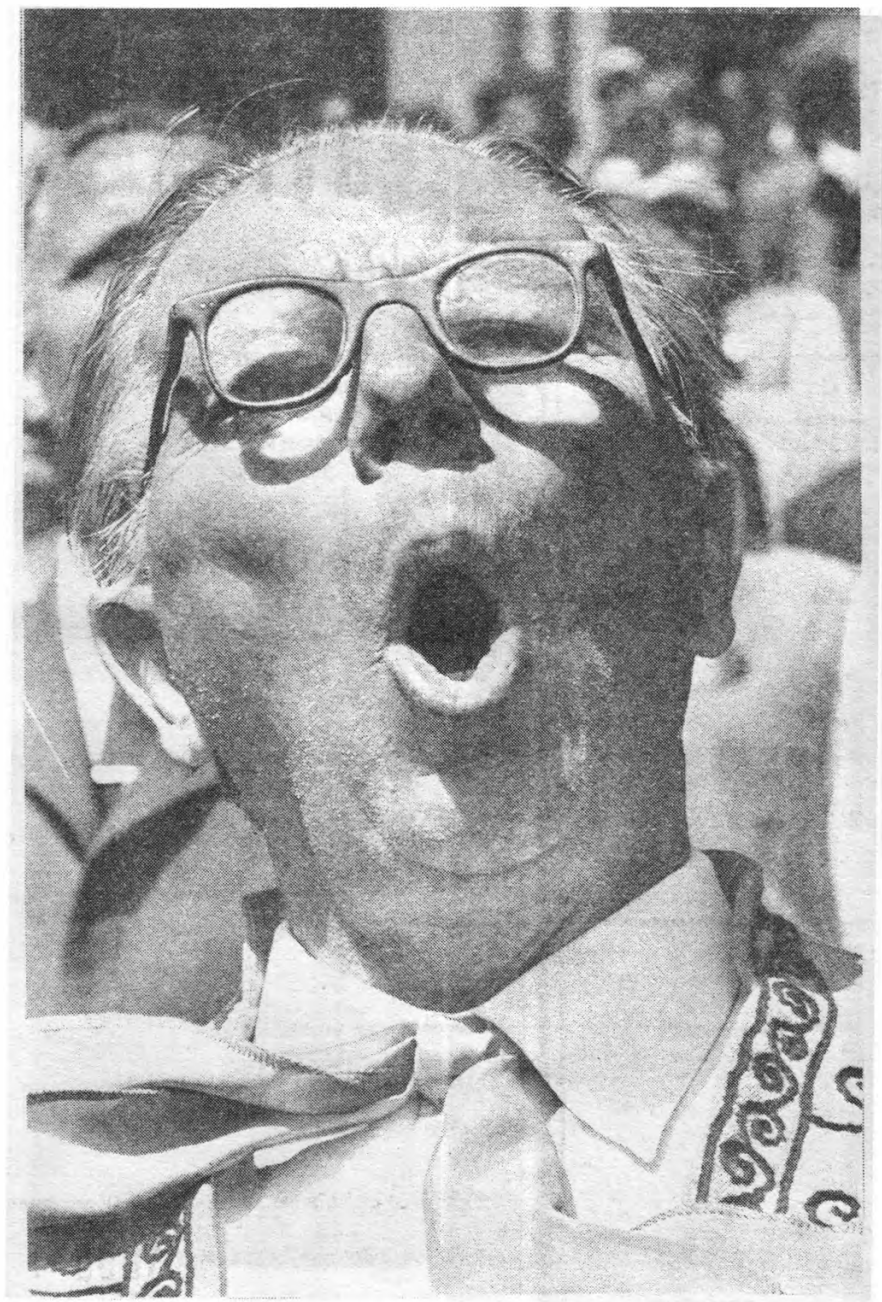
История сделала латышей рабами своих песен.

Андрис ЯКУБАН











чуть не с начала мировой войны, рвался на родину; после провозглашения Латвийской Республики отъезд казался делом решенным. Но сомнения не переставали одолевать его.) Он «вызывает» сестру.

8.1.19. 9¹/₂ вечера.

— Ты, Дорочка?

— Дора, Дорочка.

— Не понял . . .

— Я говорю . . .

— Опять не понял.

— Выйди на балкон.

— Вышел . . . Вижу, что небо проясняется, месяц мрачный, вижу.

Что мне там нужно было увидеть?

— Тебе нужно было видеть вот что: вперед, вперед!

— Что ты хочешь сказать мне, спящая?

— Ты пессимист.

— И что же мне делать?

— Езжай сейчас же домой.

— Куда — домой? В Ригу или в Москву?

— В Ригу.

— А как туда ехать?

— Через Германию.

— Как получить паспорт?

— Через Каутского¹.

— На кого сослаться?

— На Паула (Дауге)².

— Что мне дома делать?

— Вперед, вперед!

Отвечает очень резко, нервозно, быстро ушла.

10¹/₄. Папа, Иныня³.

— Вы здесь?

— Да.

— Что хотите сказать во сне?

— Вперед!

— Что это значит?

— Вперед!

— Ехать ли мне?

— Да. В Ригу.

— Где мои пропавшие бумаги?

(Думает дольше.)

— Ищи в комодке.

— На какой полке?

— На всех.

— Дора в Риге? На месте?

— Сам увидишь.

¹ Карл Каутский (1854—1938) — виднейший деятель немецкого и международного социалистического движения, теоретик, впоследствии обвиненный большевиками в отступничестве, «ренегатстве». У Райниса и Каутского имелся ряд общих знакомых (П. Дауге и др.).

² П. Дауге (1869—1946) — врач, деятель латышского и российского революционного движения. Автор одной из первых книг о Райнисе.

³ Иныня — ласкательное прозвище Аспазии, жены поэта.

10¹/₂. Вызываем Гете.¹

— Это Вы, Мастер?

— Да, я.

— Что Вы хотите мне сказать под конец?

— Ты, Райнис, не шутом ли ты хочешь заделаться? (Повторяет несколько раз, так как я не сразу понял его.)

— Должен ли я понимать это так, что мне следует отказаться от политики?

— Откажись от политики.

— Но что же мне тогда делать?

— Твое дело литература . . .

— Будет «Иосиф» иметь успех?²

— Твое дело литература.

— Кто эта юная девушка?

— Уленшпигель! Это не позволено, Райнис.

Следующий разговор записан через несколько месяцев. В России бушует гражданская война. Из Латвии доходят отрывочные и путанные известия о боях с участием немцев и, кажется, англичан, белых и красных русских, эстонцев, латышских стрелков и просто жителей, защищающихся от разбоя и разорения.

12.7.19. 10 вечера.

— Кто явился?

— Стучка.

— Что скажешь?

— На Ригу!

— Когда ваши выступают?

— Сейчас же.

— Как относитесь вы к Колчаку и Деникину?

— Мы победим.

— На кого вы полагаетесь?

— На латышей.

— На чьей стороне будут немцы в Курземе?

— На нашей стороне.

— Как же это сочетается с вашими принципами — стакнуться с реакцией?

— Мы победим.

— Что, лучше быть заодно с баронами, чем с Ульманисом?

— Победим.

— Рассчитываете ли вы объединиться с венграми?

— Венгры победят.

— Что мне делать в Риге?

— Ты можешь сказать свое слово.

— Но я — ваш принципиальный противник в национальном вопросе.

— Можешь сказать.

— А не заставите вы меня замолчать?

— Поднимем на штыки.

— Смогу ли я вас убедить своим словом?

¹ Этот разговор записан по-немецки.

² «Иосиф и его братья», трагедия Я. Райниса, над которой он работал несколько лет; опубликована в 1919 г.

- Сможешь писать.
- Через кого связаться?
- Через Мюллера в Германии.
- Кто его знает?
- Дауге.
- Пиши лучше ты.
- Пиши ты.
- Какую задачу поставите в Риге?
- Пиши. Делай свое дело...

11 час. вечера.

- Кто еще что-то хочет сказать?
 - Я.
 - Кто?
 - Асарс Германис¹.
 - Где ты?
 - Еще в Сибири.
 - Что скажешь?
 - Напиши, Райнис, призови к борьбе против насильников.
 - Ты говоришь о публицистике или литературе?
 - Пиши против большевиков.
 - Ты за Колчака?
 - За Колчака.
 - Какое положение ты занимаешь там, в Сибири?
 - Имею влияние на самого Колчака.
 - Колчак против самостоятельной Латвии?
 - Он даст автономию.
 - Этого мало, пусть дает федерацию национальных республик.
 - На это он не согласится.
 - Какие гарантии он даст, что автономия будет соблюдаться?
- Мы пойдем за тем, кто даст нам самостоятельность.
- Я и сам хочу Латвию.
 - Ну так воздействуй на Колчака.

1.10.19. 11 ч. (вечера). Маменька.

— Я пришла.

Вас арестуют на границе.

- Когда я буду в Риге?
- Может, и в этом месяце.
- Других тоже арестуют?
- Всех.
- Как мы освободимся?
- Своими силами...
- Ты что, сердисься?
- Да, сержусь.
- За что?
- Ты, Аспазия, много о себе воображаешь.
- Что я сделала?
- Свинья ты чванливая.
- Не сердитесь, маменька.
- С божьей помощью можете ехать.
- Скажи, будет нам в Риге счастье? Нам и всему народу?
- Все будете счастливы.

¹ Германис Асарс (1882—?) — журналист; одно время состоял в оживленной переписке с Райнсом. С 1915 года жил в Сибири. В Ригу вернулся в 1920 г.

1.11.19. Наполеон.

- Ехать ли мне домой?
- Нет.
- Есть ли опасность? Будет успех у Латвии?
- Нападут.
- Кто?
- Немцы.
- Возьмут они Ригу?
- Возьмут¹.
- Займут ли большевики Латвию?
- Они нападут.
- Станет Латвия независимым государством?
- Станет.
- Буду ли я президентом Латвии?
- Будешь.
- Когда?
- — —

Ленин².

- Что ты хочешь сказать мне, спящий?
- Защищай наше дело.
- Намерен ли ты дать независимость Латвии?
- Что мы можем? Должно победить наше дело.
- Понимаешь ли ты, что без поддержки народов вы не сможете победить?
- Ты должен, ты обязан быть с нами. Ты, Райнис, делай то, о чем говорю тебе.

Стучка.

- Что желаешь сказать мне, спящий?
- Победим. Немцы нападут.
- И вы вместе уничтожите Латвию?
- — —
- Отдадите ли вы немцам Курземе?
- — —
- Ты можешь понять, что вы вредите делу, уничтожая тот самый народ, который вам помогает?
- Вы хотите монархии.
- Сами виноваты. Или не понимаешь, что твой взгляд устарел? Что здесь речь о (народах) — живых организмах, которые только и способны подвинуть вперед дело, само по себе неживое?
- Закрой рот.
- Зажимать рот — это что, метод вашей борьбы?
- Получишь по жопе.

¹ Именно в это время, к началу ноября 1919 года, над Ригой нависла смертельная угроза: войска Бермонта-Авалова, состоявшие из солдат бывшего немецкого ландсвера (в том числе «железной дивизии» фон дер Гольца), русской белой гвардии и т. п., осадили город. Наполеон оказался неправ — латышская армия разбила Бермонта.

² Запись по-немецки. В. И. Ленин был на пять лет моложе Райниса. У того и другого было юридическое образование, тот и другой были в девяностых годах «помощниками присяжного поверенного». В начале девяностых годов Райнис, как и Ленин, участвует в социал-демократическом движении. Годы ссылки и эмиграции (в том числе в Швейцарии) тоже нередко совпадают. Достаточно обширен был круг их общих знакомых.

- Хорош аргумент!
- И еще раз по жопе.
- Я думал, для победы важнее голова?
- Мы победим.

2.12.19 10¹/₂ час.

Петерис (Стучка).

- Что хочешь сказать, приходя во сне?
- Хочу вернуть тебя в партию.
- Дадите вы Латвии самостоятельность?
- Можешь быть уверен.
- И вы не хотите уничтожить латышей как народ?
- Весь народ не уничтожишь.
- Зачем же ваши угрозы?
- Наши угрозы — против мещан, их хотим уничтожить.
- Не видишь, что этим вы отпугиваете социал-демократию?

Не сомневайся: ты на ложном пути.

- А сам отвернулся от социал-демократов?
- А знаешь ли, почему я отвернулся? — потому что вы вообще не признаете национального!
- Это я знаю.
- Вы действительно дадите самостоятельность или только на бумаге?
- На бумаге.
- А будет позволено латвийской пролетарской республике самой избрать своих представителей?
- Можешь тут на нас положиться.
- А будет представлена республика в правительстве Российской Федерации?
- Не сомневайся.
- Но тебя назначила Москва?
- Это да.
- Могли бы идти вместе, ты слышишь?
- Слышу.
- Слышишь только последний вопрос или подтверждаешь все сказанное?
- Только вопрос.
- Как у Доры дела?
- У Доры все хорошо.

Ленин¹.

- Правда ли, что вы хотите допустить к выборам другие социалистические партии?
- Правда.
- Означает ли это изменение системы?
- Это только . . . только . . .
- Разве вы не можете соединить господство пролетариата с национально-федеративными основаниями?
- Это не пойдет.
- Не кажется ли вам, что власть пролетариата недостаточно прочна, если она не имеет под собой органичной опоры — нации?

¹ Эта часть записей сделана по-немецки.

- Сомнения действительно возникали.
- Не хотели бы вы обдумать это и обсудить со мною?
- Охотно.
- Убеждены ли вы в том, что я хочу лишь пользы делу пролетариата?
- Хочется верить.

. . . Достаточно. Пробоина, из которой хлынуло в 1871 год другое, трудное и чужое время, оказалась чересчур широка, пора всеми средствами закрывать ее и заделывать, покуда оставленный нами в Рандене шестилетний Янис не испугался . . . Он и то уж вопросительно смотрит вверх; так и кажется, что он слышал что-то из тех вопросов, из тех ответов и пытается извлечь какой-то смысл из множества мало-вразумительных слов, просыпавшихся на него откуда-то так неожиданно и непонятно.

Забудь, малыш, — эти слова не твои, время слышать и понимать их еще не пришло.

Рандене. О весне и лете, кажется, было уже упомянуто? Теперь — зима. Незамерзающие, дымящиеся поляны на Даугаве. Визг санных полозьев по рыжевату, отполированному до блеска насту. Сугробы. Утреннее откапывание и протапывание дорожек. Узор на стекле, протаивание в нем прозрачного кружка — губами, дыханием.

Трижды прожитый в Рандене цикл времен года, из которого мы пока что не коснулись осени.

«Осенью — оживленное сообщение с городом. Отец выращивал много капусты и травы на сено. Капусту продавал армии. Солдаты приходили и саблями отрубали капустные головы. Сено тоже увозили. В хозяйстве была большая молочня. Молоко отправляли в город, и самим оставалось достаточно. Я и теперь питаюсь большей частью молоком и молочными блюдами».

Поздно осенью начинались артиллерийские стрельбы. Пушки Динабургской крепости стреляли оттуда, из-за реки, на семь километров. Снаряды пролетали над обитателями Рандене, падали за лесом, иногда задевали и обламывали верхушки деревьев. Там же, за лесом, после этого слышались звуки трубы, мелькали какие-то пестрые, как на праздник, флажки — сигнализация. Потом на дороге появлялись солдаты — разгоряченные, потные, всегда бегущие куда-то, как будто занятые взрослой жутковатой игрой, в которую чужих не принимают.

По окончании стрельб окрестные жители разбрелись по лесу, по полю — искали искореженные куски металла: их можно было приспособить в хозяйстве или продать. Дети были первыми. Бывало, находили неразорвавшуюся гранату. Тогда кидали ее в костер, а то еще как-нибудь пробовали подорвать. Кого-то покалечило — кого? Через годы он забыл, а тогда-то помнил, конечно, знал все и во всех подробностях, передававшихся с прибавлениями по окрестным хуторам и усадьбам. Слухи пробегали немалые расстояния быстрее всякой сигнализации.

«Около 1870 года в округе распространилась какая-то эпидемия, — кажется, холеры; много народу умерло. У меня осталось в памяти, как умершим в гроб клали бутылку водки . . . В то время был голод, люди бродили в поисках работы и пропитания. Должно быть, перед

тем был неурожайный, «сухой» год. Отец ставил жилой дом, строил хозяйственные помещения. Тогда же недалеко от нас строили железную дорогу, линию Калкуна — Паневежис¹. Я бегал то и дело на стройку, так нравилось глазеть на все это. Времена были интересные: разворачивалась новая жизнь. Строили железную дорогу — а следом за ней шла промышленность. Все это так живо отпечаталось в памяти детских лет (мне было 6—7).

После военных учений родители брали его с собой в город, в Динабург. «Он казался мне высоким, огромным, и вся жизнь в городе, все движения оказывались быстрее, чем дома». Еще бы не быстрее! . . . Но все-таки и в Рандене жизнь была проточной, текучей, приостанавливаясь и несколько застывая только зимою. Но и тогда скрипели на дороге полозья, двигались и шумели люди, мать пела, сидя за старым ткацким станком, и пристукивала в такт, пригоняя к продольной нити основы новую поперечную нить, а к песне — песню.

«Первые мои литературные впечатления явились из народных песен, моя мать знала песен очень много и петь любила; поздней, в гимназические годы, я записал с ее голоса больше сотни латышских народных песен. Так же точно и литовские песни, и скорбные народные мелодии белорусов (гудов) я слышал с пятилетнего возраста и лет до пятнадцати, самое меньшее. Литовец, старый Марцулис, может быть, самое глубокое из моих детских воспоминаний: как он целый день напролет крутит ручной жернов, как тянет нескончаемую песню, такую же монотонную, как его работа. По ночам, просыпаясь, я слышал напевы гуда Недзвецкого, нашего сторожа, — так поют осенние ветры. В воскресенье два работника, латгальцы, заводили долгую песню про графа Платера и его несчастную судьбу: как совсем молодым он окончил жизнь на виселице, своей волей пошел на смерть вместо брата-мятежника: брат только-только женился, вот граф и пожалел его. Помню и сейчас еще мелодию и несколько куплетов этой песни; так прекрасна она была и так печальна, что слушатели всякий раз заливались слезами. Мог бы я спеть еще и сегодня песню молоденького еврея-рекрута насчет солдатской службы и про того самого беднягу Платера. Молодому еврею, маляру, предстояло той самой осенью тянуть жребий — и, может быть, идти в солдаты, оставив невесту. Ему ли было не понять, что творилось в сердце графа Платера!»

Песня была свежая: меньше десятилетия отделяло в то время и певцов и слушателей от событий, так сильно подействовавших на народное воображение. Во время польско-литовского восстания 1863—1864 гг. прямо напротив Рандене, на другой стороне реки, томился в крепости и ждал смерти граф Леон Платер.

Строки из подлинного приговора: «Полевой военный суд, признавая виновным графа Леона Платера в том, что, находясь в сношениях с польским революционным комитетом, он первый поднял знамя бунта в Витебской губернии /.../ приговорил помещика графа Платера казнить смертью расстрелянием». Песня что-то додумала, что-то перепутала, что-то пересотворила, но за ней была своя правда, более точная, чем правда протокола. Сила этой песенной правды была в том, что она проникала через все защитные покровы, через всю

¹ Часть железной дороги Динабург — Шяуляй, открытой в 1873 г.

невидимую броню, которою отгораживается человек от чужих несчастий, и трогала внутри человека голое сердце.

По-латышски песня начиналась так:

Tie sasien mani, muižnieku,
To lielu kungu Plateru,
Un aizved tumšu cietumā,
Kur neredz gaišuma.

Kad mani ved no cietuma,
Caur Dinaburga pilsētu,
Pulks muzikantu arkārt stāv,
Tie dzied un spēle uz manu nāv . . .¹

А еще в этих самых местах, на этой реке, по которой, вспомним, проходил в седой древности путь «из варяг в греки» — или одно из ответвлений этого пути — всегда соседствовали, задевали друг друга, торговали, дрались, мирились, рождались и взаимно отталкивались многие племена и народы. «Не считая уже упомянутых (то есть литовцев, белорусов, латгальцев), мы оказывались в повседневном общении с русскими, в их числе старообрядцами, с польским дворянством, немецкими бюргерами, — и в доме нашем говорили примерно на восьми языках и наречиях, бывало, что и между собой — на всех восьми разом».

Как ни суди — круг впечатлений этого ребенка широк необыкновенно. Притом они не превращались в бессмысленный калейдоскоп случайностей: живой и постоянный приток новостей сочетался с устойчивостью обычаев и понятий, с налаженным кругооборотом крестьянских работ, выстроенным еще в предыдущих поколениях.

Живи маленький Янис только в усадьбе, вдали от многолюдных дорог, он бы вышел к своим последующим годам бедней вполовину; живи он только в городе — и несколько улиц загородили бы от него луга и озера, разливы Даугавы . . . да что там перечислять, — полпочвы оказалось бы вынута из-под ног, полсвета, полмузыки смолкло бы и погасло, не успев просиять или быть услышано.

Но ему досталось все вместе: река и дорога, город и живой деревенский простор. И еще невольное одиночество, потому что родителям не до него было; да тонкая кожа.

Продолжение следует

¹ Перевод возможен, конечно, самый приблизительный: ведь вельможный граф в песне, которая выступает от его имени, изъясняется народным, мужицким языком.

Повязали меня, помещика,
Господина большого, Платера,
Отвели меня в тюрьму темную,
Где ни проблеска света белого.

Как вели меня из тюрьмы потом,
По Динабургу, через город весь,
Музыканты вокруг все стоят в строю
И поют, и играют про смерть мою.

В мятежном роду Платеров известны еще граф Людвиг, за поддержку польского восстания 1830 года лишенный всех своих поместий, графиня Эмилия, бывшая в 1830 году капитаном в революционных войсках, ее кузены Цезарь и Владислав; последний выступал за освобождение Польши и во время восстания 1863—1864 гг.

Виктор ЛИВЗЕМНИЕКС — латышский поэт, прозаик, критик, переводчик — родился в 1936 г. в Риге. Учился на историко-филологическом факультете Латвийского государственного университета. Работал в районных и республиканских газетах, заведовал Домом-музеем Андрея Упита. Член Союза писателей с 1965 г. Издал книги стихов: «Человек, которого ждут» [1965], «Построй свой город» [1967], «Не только я один» [1976], «За ухабами сад» [1982], «Дума о бытии» [1986]; сборник рассказов «Все мы люди» [1969]. Переводил стихи русских, белорусских, украинских, литовских поэтов; издал сборник переводов избранных стихов Р. Бородулина («Пора сенокоса», 1967), Я. Дегутите («Разноцветные песенки», 1973).

Стихи В. Ливземниекса переводились на английский, а также на русский, белорусский, эстонский и другие языки народов СССР.



СУДНЫЙ ДЕНЬ

СПАСИБО СОЛНЦУ!

Когда-то мы проходили понятие «солнце»,
Нам показывали солнце —
 как орден на вершине служебной лестницы, солнце — в сиянье
 витрины, солнце — в аппликациях.
Но мы из-за хлеба тайком в изумленье глядели на небесный
сияющий диск, до боли глаза слепящий.
Солнце от дома к дому брело за нашей телегой, в которой
 был плуг, кровать и ягненок.
Солнце взошло на ниве пригоршней зерен.
Солнце во двор заглянуло в крестьянском кафтане и дальше пошло
жгучим и чистым, как совесть.
Спасибо солнцу за то, что сегодня обвожу изумленным взором все
вокруг, могу прочесть его письма на пашнях, в лабораториях,
в даях морских.
Солнце показывает мне и мою настоящую тень.

Перевела Ольга НИКОЛАЕВА

* * *

Так не бывает — ты сказал «белое», а он головой кивнул:
 «белое, да». Ему, быть может, оно черноты чернее.
Не бывает одинаковых юбок. Кому узковато, кому широко,
 А кто-то заявит: «Но это не мой цвет!»
Один обманутый ляжет в землю, другой на его костях
 дом построит.
Ты думаешь, это просто навоз, а он считает, что от этого
хлебу польза; что-то пугает тебя грозным рыком,
 а он смеется; что тебе покажется хильтм, тебя
 же и едолеет.

Да здравствует спорящий со мной! Если он сильнее меня,
я кану во тьму. Но не думайте только, что глобус
замедлит вращение!

Я приду обратно с рассветом.

Я не тот, что вчера, и себя не узнаю наутро. Милые бес-
стыдницы, шагайте через меня! Мир принадлежит
вам!

Перевела Татьяна ЦВЕТКОВА

АНАЛИЗ КРОВИ

Палец? Пожалуйста! Колите, жмите, берите, сколько надо. Берите и
исследуйте!

Что говорить, не всегда гемоглобин был у меня в норме тогда, после
войны. И бог знает, как с лейкоцитами в эту термоядерную эпоху. А скорость
оседания эритроцитов? Действительно нормальная? Моя кровь — родная, свя-
тая кровь моей матери и отца, моя древняя латгальская своенравная кровь.

А в какой графе будет отмечено, сколько раз, истекая кровью, я под-
нимался с земли? Сколько раз кровь отливала от лица, когда я глядел
в глаза судьбе, а она отводила взгляд?

В какой графе будет отмечено, как волнуется и пульсирует кровь от
того, что щеки той девушки — кровь с молоком?

А когда кровоточит сердце, в какую это заносит графу?

Нет, одна капля ничего не скажет о крови.

Надо узнать человека.

Быть может, хватит мять мой палец?

ИЗ ОДНОГО СНА

На дверях надпись —

«Бюро добрых услуг».

Сбоку разъяснение: Здесь принимают 1) глупость 2) лень 3) хамство . . .
(все же не перечислить — список слишком длинен).

Вообще принимают все, что портит жизнь человеку.

Вот старушка встала в очередь, чтобы сдать грешок молодости.

Без него сразу станет легче.

Вот чинуша в нерешительности мнетя у дверей. Он хотел сдать подо-
бострастие, но ему со смехом отсоветовали: — Брось! У тебя же нет ничего
другого!

Вот какой-то чудака протягивает пару стоптанных сапог: — Возьмите. Мне
они больше не годятся.

Лишь один мужчина с покрасневшими глазами хочет не сдать, а при-
обрести: — Кореш, бранных слов не найдется?

— У меня только одно-единственное: «Черт побери!»

— Чтоб тебя самого побрал! — разочарованно сплевывает мужчина.

Подходит девушка: — Я бы хотела сдать свою любовь. Ведь здесь при-
нимают все, что делает человека несчастным!

За прилавком стоит старик. У одних он принимает, другим отказывает.

А люди все идут . . .

Когда я подошел, дверь была закрыта.

Скажите, где принимают такие бредовые сны?

Перевела Наталия БАБИЦКАЯ

СУДНЫЙ ДЕНЬ

С ломотой в костях, с отчаянием в обезумевшем взгляде
и похудевшим мешком золота, со сбродом глупцов,
ковыляющих позади, — спотыкаясь, плетется столетие
в свое грядущее.

Оглядывается — лик солнца в копоти, позади — одни лишь
 могилы . . . «Что ждет нас, что ждет нас за тем
 рубежом, и за другим, и за следующим — там,
 в далеком грядущем?»

Среди железобетонных блоков, мусора, у пепла костров
 сидят на корточках в нейлоновых обносках
 продрогшее дитя человеческое. В канун судного дня
 открываются взгляду далекие тревожные миры . . .

Неужели искать спасение на небесах, покидая Землю,
 заваленную отбросами на поживу крысам?

Что нас ждет там? Что взять с собой в Великое
 столетие?

Расселиться по знакомым и незнакомым планетам? Будет
 ли там луна ласкать пальцы, глаза и волосы
 влюбленных? Будет ли она по ночам струить
 серебристую влагу на их тропинки?

Будут ли там рождаться дети и смогут ли они там играть
 осенними листьями?

Что они там посеют — ненависть, хлеб? Не придется ли
 там сильному отбирать последний кусок у слабого?
 Или с помощью бомбы они найдут себе более
 благодатную планету? Какую веру они станут
 исповедовать? Кого утвердят на небесах взамен Иеговы.
 если на Земле не сумели спастись?

Не будет ли все так же пронумеровано? А человек —
 обречен на смерть, если не понравится цвет его
 глаз? И если у него золотые коронки?

А стрессовые ритмы? А безумие? А преступность, которая
 заставляет ужасаться не только ночь, но и день?

И какие грехи мы возьмем с собой, какие воспоминания,
 какие надежды?

Человек с тревогой вглядывается в Мирозданье. Боже
 милостивый, неужели в грозный день суда ты отнимешь
 у меня все и даже то бесценное, то единственное,
 что у меня есть — мою родину?

И то единственное, что жарко трепещет в груди?

Неужели все будет отторгнуто?

Неужели бегущим останется только отчаянье, только
 беззащитно обнаженная душа? И все же я вернусь
 на Землю с истерзанным, стонущим от отчаяния
 сердцем . . .

И тут приходит на ум: так не должно быть, так не будет!
 Сиротой, оставшимся на руинах, я приберусь на моей
 Земле, превращу ее в сад. Обезьяной начну все
 сызнова, соответственно моей природе, отшвырну
 пинком тряпичных идолов, размалеванные доктрины.
 И некогда святые оковы — долой!

Пусть человек доит корову, добывает себе пропитание
 на огороде, снова строит воздушные замки, — эти
 обители возрожденной души, — пусть!

Феникс — да возродится из пепла!

Перевел Павел ГРУШКО



РАССКАЗЫ

КОГДА МАМА БЫЛА МАЛЕНЬКАЯ

Владимир МАТЛИН (род. в 1931 г.) по образованию юрист, по профессии журналист и киносценарист, много лет работал в Москве на киностудии «Центрнаучфильм». Сделанный им с режиссером Цукерманом короткометражный фильм «Ночь на размышление» был отмечен серебряным дипломом на Международном фестивале в Лос-Анджелесе, но так и не вышел на экраны в Советском Союзе. С 1975 года В. Матлин живет в Вашингтоне, печатается в зарубежной русскоязычной прессе. Публикуемые ниже рассказы взяты из сборника «Эффект Либерсона» («Эрмитаж», США, 1989).

Как журналист В. Матлин публикует статьи в «Лос-Анджелес таймс», готовит разные программы для радиостанции «Голос Америки», где и работает в настоящее время.

— Поверьте, мне неприятно об этом говорить, но Стив просил меня. Да я сама тоже так считаю. Это вопрос здоровья, неужели непонятно? Мы же не в первый раз... ну сколько можно?

Ира явно сдерживала себя, старалась не поддаваться раздражению. Игорь сидел перед ней в халате на плетеном кухонном стуле и пил кофе из огромной кружки с надписью «Mother». Она стояла в туфлях на каблуках, от этого еще более высокая, в синей юбке и белой блузке с бантом. Он ощущал тонкий запах духов.

— Это не наши выдумки. Я вчера снова говорила с доктором Кэпланом, и он снова сказал: никаких этих хэбургеров, никакой пиццы...

— Irene! I am late! — донесся снизу мужской голос.

— Coming! Coming! — прокричала она, схватив жакет, и, просовывая руки в рукава, на ходу бросила:

— И, пожалуйста, не ездите в Санта Моника! Далеко, и на берегу все время ветер. Доктор Кэплан говорит, что лучше...

— Этот доктор Каплан говорит то, что ты хочешь услышать, — сказал Игорь жестко. Она остановилась, хотела возразить, но снизу опять донеслось:

— Comm'on, Irene!

Она вскрикнула «Oh, Jesus!», отчаянно замахала руками и побежала по лестнице вниз. Игорь слушал, как взревел мотор, машина выехала из гаража, дверь автоматически опустилась, и в доме наступила тишина.

Он быстро допил кофе, сполоснул под краном кружку, поставил ее в висячий шкаф и вышел из кухни. Прежде всего он заглянул в детскую. Мелани

крепко спала в своей кровати, выснув из-под одеяла пухлые ступни. Будучь ее было жалко, Игорь взглянул на часы и подумал, что время еще есть, он свободно успеет все сделать, так что пусть спит. Он постоял над кроватью. Разглядывая внучку, он каждый раз удивлялся: ну ни одной Ириной черты, как будто родил ее Стив: редкие светлые волосы, тонкие губы, приподнятые плечи...

Игорь осторожно прикрыл дверь и зашел в маленькую комнату по соседству — в его комнату. Там он достал из секретера пачку писем в разноцветных конвертах, толстый справочник, разграфленные листы, отнес все это в столовую и разложил на обеденном столе.

Это были письма из редакций журналов, за несколько дней их накопилось с два десятка. Многие были не распечатаны, но Игорь знал их содержание. Все они начинались благодарностью за то, что автор удостоил именно этот журнал своим вниманием, но предложенный автором материал в настоящее время, к сожалению, напечатан быть не может, поскольку журнал, получая на рассмотрение невероятное число материалов высокого качества, должен, однако, сосредоточиться на наиболее соответствующих его направлению. Этот отказ ни в коем случае нельзя рассматривать как указание на недостаточное высокое качество представленного автором материала, говорилось в заключение. Некоторые возвращали рукопись.

Игорь распечатывал конверты, пробегал глазами преисполненные сочувствия строки, затем отмечал в разграфленном листе против названия журнала дату отказа, а само письмо бросал в большую папку. Таких писем там накопилось не менее сотни. На одном письме он задержался: нью-йоркский журнал «Они» давал ему советы, как следует писать научно-фантастические рассказы: избегать технического жаргона и излагать захватывающий читателя сюжет ясной прозой. Рассказа в редакции, конечно, не прочли, но по заглавию приняли за научную фантастику — «Человек будущего»...

Затем Игорь приступил к обратному процессу: размноженные на ксероксе копии рукописи он вкладывал

в большие коричневые конверты, на которых надписывал адреса редакций, отыскивая их в толстом справочнике под названием Fiction Writer's Market. За этим занятием и застала его Мелани.

Она вошла в комнату, неслышно ступая босыми ногами по ковру.

— Дедушка, я не сплю. Я хочу мой завтрак.

Она говорила по-русски только с Игорем, он, собственно, и научил ее языку.

— Давай сначала оденемся.

— Нет, я хочу мой завтрак сначала.

Этот удивительный ребенок всегда хотел есть — еще одно отличие от Иры: ее в детские годы с большим трудом удавалось засадить за еду.

Пока Мелани уплетала в кухне сириел с молоком и клубникой, он успел надписать и заклеить конверты. Затем он помог ей одеться и опять вспомнил, как Ириша в этом возрасте придирчиво выбирала платье, носки, туфли... хотя выбирать-то особенно было не из чего. У этой был полный шкаф платьев, но ей было решительно безразлично, что надевать. Сам он, как всегда, надел джинсы и футболку. На мгновение у него шевельнулась мысль, что как раз сегодня, может быть, следовало бы одеться поприличнее, но он тут же решил — ладно, сойдет...

Они спустились в гараж, сели в синюю «ауди», которая считалась Ириной машиной, и выехали на прокаленные калифорнийским солнцем улицы.

Хотя по пути они остановились на почте, чтобы отправить коричневые конверты, в офис на Сансет-бульваре они приехали раньше назначенного времени. Запарковав машину на другой стороне улицы, они неспеша дошли до отделанного мрамором подъезда, поднялись на восьмой этаж, но все равно, когда они открыли массивную дверь с огромной медной доской «Фрэнк Т. Виленски, литературный агент», было без двадцати десять. Двадцать минут они сидели в приемной в глубоких креслах, рассматривая картины с изображением огромного размера тычинок и пестиков и слушая, как воркует по телефону секретарша. Мелани вела себя терпеливо. Ровно в десять дверь из

кабинета распахнулась, и в приемную быстрым шагом вышел Фрэнк, протягивая на ходу Игорю руку.

— Как я рад видеть вас! Как жизнь? Прекрасно, прекрасно! О, и ты решила навестить меня? Как это мило! Тебя ведь зовут... сейчас скажу, сейчас... Мелори? Нет, Мелани, я хотел сказать — Мелани. Верно? Заходите же, заходите!

Игорь с трудом успевал понимать поток английских слов... Фрэнк ввел их в просторный кабинет с окном во всю стену, и в этом роскошном кабинете рядом с величественным седовласым Фрэнком, облаченным в серый костюм с голубым галстуком, Игорь на мгновение почувствовал себя неловко в выцветшей футболке и джинсах.

— Давайте здесь сядем, здесь уютнее. Что будете пить?

— Мне кока-колу, пожалуйста. Большую, пожалуйста, — сразу же отозвалась Мелани.

— Большая кока-кола. Будет сделано. А для вас?

— Чай, пожалуйста, — сказал Игорь неуверенно.

— Вы имеете в виду горячий чай? Потрясающе. Единственный человек в Америке, который пил в жару горячий чай, был мой отец. Он был из Одессы. Что, в той стране принято пить горячий чай в жару? — Фрэнк захохотал. — Смотрите, что будет, когда я попрошу горячий у секретарши. Она ушам своим не поверит. Хотите поспорим на сто долларов?

Он наклонился к переговорнику и отчетливо произнес:

— Пожалуйста, кока-колу со льдом и горячий чай. Нет, я не оговорился: горячий. — Он победно взглянул на Игоря и Мелани. — Что я говорил?

Напитки были принесены, и Мелани принялась с шумом тянуть кока-колу через пластмассовую трубочку. Фрэнк помолчал, собираясь с мыслями, пригладил седую шевелюру и заговорил:

— Как я сказал, мой отец был родом из Одессы, и это придавало особый интерес чтению: страна предков, понимаете... Но вот без этого, так сказать, специального интереса стал бы я читать столь значительный по объему роман? Я имею в виду не себя, вы понимаете, я говорю об обычном рядовом читателе. Не уверен, честно говоря, не уверен. Очень

уж все это далеко: довоенная жизнь в Одессе, доносы на соседей, русские — украинцы — евреи, районный комитет партии, портреты Сталина... Не знаю, не уверен. Сегодня читателя интересует другая Россия — перестройка, Горбачев!..

Он развел руками и вздохнул.

— Понимаю, как я вас разочаровываю, Игорь. Мне это ужасно неприятно, поверьте, но я не имею права рисковать. Хотя писатель вы хороший, это видно даже в переводе, и мне вас не зря рекомендовали. Кстати, перевод неплох, но уверен, что оригинальный текст намного интереснее. Не отчаивайтесь, прошу вас.

— Я не отчаиваюсь, — сказал Игорь ровным голосом.

— И правильно! Унывать никогда не нужно. Неизвестно, откуда может прийти удача. Вы знаете, что я подумал? А не попробовать ли вам отправить в советское издательство? Я вот недавно читал их новый роман «Дети Арбата». Некоторые темы очень схожи.

— Пытался, отправлял. Ответа так и не получил.

— Может, рукопись затерялась?

— Нет, я отправлял... как это по-английски?

Игорь мучительно наморщился, напрягая память. И вдруг Мелани, на мгновение выпустив изо рта трубочку, отчетливо произнесла:

— Реджистерд. Это слово — реджистерд. — И опять принялась с шумным бульканьем втягивать кока-колу.

— Попытайтесь послать в другое издательство, ведь там их несколько. Просто я не думаю, что сегодня американский читатель...

Игорь его не слушал. Он смотрел на Мелани, которая, допив кока-колу, стала грызть лед. Кажется, этого ребенка ничего не интересует, кроме еды и питья. Но вдруг она подает такую реплику... Неужели она следит за разговором?

Фрэнк проводил его до самого лифта. Он долго ждал Игорю руку на прощание, передавал привет общим знакомым, заглядывал в глаза и говорил, как он сожалеет. В конце концов Игорь почувствовал себя виноватым и из последних английских слов стал его утешать:

— Ничего, не расстраивайтесь, я привык.

В это время распахнулась дверь лифта.

Они ехали в машине по Вилшеру в сторону океана.

— А теперь расскажи историю, — сказала Мелани свою обычную фразу.

— Какую историю? — включился он в игру.

— Как мама была маленькая.

— И что произошло?

— Ты купил ей синие ботинки в магазине «Детский мир» на площади Жизидинского.

«Дзержинского», — хотел поправить Игорь, но не стал: зачем ей знать это имя?

— И ботинки были такие красивые, что мама... она тогда была маленькая... подумала, что они волшебные. Тогда еще жива была ее мама, бабушка Лена. И они захотели проверить, правда ли синие ботинки волшебные... Помнишь?

— Что-то я никак не припомню. Что же было потом?

— Не помнишь? Это ты рассказывал. Она, маленькая мама, захотела увидеть волшебный сон и для этого легла спать в ботинках. Представляешь себе? В кровать в ботинках! И вот поздно ночью, когда она заснула...

Это повторялось по несколько раз в день, но все равно считалось, что историю рассказывает дедушка. Игорь вел машину и поглядывал на часы. Без пяти одиннадцать. Если заезжать домой, чтобы покормить Мелани, к двенадцати в Санта-Монику не успеешь. Что делать, придется нарушить Ирин запрет. Он не может не рассказать все Соне: в конце концов ее это касается так же, как его.

Без десяти двенадцать он запарковал машину на набережной. Мелани тут же побежала на качели, а Игорь сел на скамейку в тени пальмы. Соня появилась в пять минут первого. Она шла быстрым шагом, переваливаясь на плохо гнущихся ногах, и глаза ее за толстыми стеклами очков выражали вопрос: «Ну, что?»

— Ну, что? — повторила она, приближаясь к Игорю. — Ну, что?

Он подождал, пока она подошла вплотную:

— Ничего хорошего. Похвастаться нечем.

— Oh, no! — вскрикнула она. — Dammit! Что он сказал?

— Что всегда говорят в таких случаях: написано хорошо, но его читателям в данный момент неинтересно, а интересно им про Горбачева и перестройку.

— При чем тут перестройка? Это же совсем про другое время!

— Его спроси...

Соня опустила рядом с ним на скамейку, тяжело вздохнула и вытерла пот с лица. Ей было жарко от быстрой ходьбы, тем более в плотном платье с длинным рукавом. Она выглядела совершенно подавленной.

— Он похвалил твой перевод.

На Сою это не произвело никакого впечатления.

— Это надо продавать в Нью-Йорке, а не здесь, — сказала она.

— Фрэнк связан с нью-йоркскими издателями.

— Но представления о литературе у него провинциальные. Зря я искала к нему путей, моя вина...

Как многие коренные ньюйоркцы, она считала глухой провинцией все, что не на Манхэттене.

— Если бы я могла бросить работу и поехать в Нью-Йорк... Ну хотя бы на месяц. Мне кажется, я бы нашла издателя.

— Это нереально, такую работу не бросают.

Она еще раз вздохнула и, положив руку на его колено, сказала:

— Не надо расстраиваться. На этом Фрэнке... как это?.. клин не зашелся?

— Свет не сошелся клином, — поправил он автоматически. Она всегда просила исправлять ошибки в ее русской речи.

Соня говорила по-русски в детстве, когда жила в Белоруссии. Во время войны маленькой девочкой оказалась с матерью в Польше, потом в Германии, каким-то чудом обе выжили. После войны мать ни за что не хотела возвращаться домой, где никого не осталось в живых, а разыскала в Америке каких-то родственников и получила разрешение на въезд. Школу и университет Соня окончила в Нью-Йорке. Английский стал ее родным языком, хотя дома до самой маминой смерти она говорила по-русски. С Игорем она познакомилась случайно года четыре назад. Он тогда водил такси. Просто села в такси и момен-

тально опознала его акцент. Разговорились, познакомились, а позже она вызвалась перевести на английский его рассказы и несколько глав из романа.

— Не стоит меня утешать, Соня, я уже привык. Ведь и там так же было. Скажи лучше: ты собираешься есть? Твой перерыв через сорок минут кончается.

— Надо бы поесть, — нехотя согласилась она. — Давайте пойдем в «Клайдс», что ли. Где Мелани?

При слове «ресторан» Мелани сразу слезла с качелей. Осложнения, однако, возникли уже за столом, в полупустом зале ресторана, когда заказывали еду. Покладистая обычно Мелани проявила невероятное упрямство: никакими силами ее нельзя было уговорить заменить чем-нибудь гамбургер. Свою котлету в булке она требовала по-русски и по-английски и готова была зареветь. В конце концов Игорь сдался.

— Ира будет недовольна, — сказал он. — Как раз утром говорила, что доктор Каплан запретил. А я сказал, что этот Каплан просто поддается ей.

— А как реагировала на это Ира?

— Никак. Замахала руками и сказала: «Jesus».

— Jesus? — Соня отпила воды из стакана, помолчала. — Могу я задать тебе интимный вопрос?

— Интимный?

— Ну, может, это по-русски неправильное слово... Я хочу спросить, как ты чувствуешь себя в их семье? Я понимаю, что это твоя дочь, но все же ты там не дома... не у себя дома.

— Я хочу кетчуп с моим хэмпбургер, — сказала Мелани. Игорь передал ей бутылку.

— Видишь ли, — сказал он, — я ведь не от безвыходности. Я могу опять сесть на такси и сниму себе квартиру, как прежде.

— Но тогда прощай литература!

— Отчего же? Можно работать через день и писать, писать...

— Не думаю, что так можно написать роман — через день...

Он пожал плечами. Она резко наклонилась к нему через стол и быстро проговорила:

— Я хочу предложить тебе лучший выход. Переезжай ко мне! Ты видел, я живу в хорошей квартире. Будешь

себе писать, сколько хочешь, и с ребенком возиться не надо. Над переводом мне работать будет удобнее. И ни о чем не думай, в смысле там за квартиру или за что другое... Заработаешь — заплатишь, сколько сможешь, а нет — у меня хватит.

Игорь посмотрел на нее, словно увидел в первый раз: близорукие глаза за толстыми стеклами очков, мелкие морщины вокруг рта, закрашенная рыжим седина. Ведь она, должно быть, на несколько лет моложе его. Странно это — своего возраста не видишь...

Наверное, взгляд его был слишком пристальный, она вдруг покраснела и отшатнулась, словно стремясь укрыться от стоявшего на столе светильника.

— Ты, конечно, понимаешь, что это ничего не значит, — сказала Соня поспешно. — Я хочу сказать, что если мы будем жить в одной квартире, это не значит, что мы...

Она замолчала, не найдя слов, и чтобы прервать неловкую паузу, он сказал:

— Спасибо, это с твоей стороны очень... Я не могу из-за Иры, она бы обиделась. Одно дело, если я снимаю отдельно, а другое дело — переехать к кому-нибудь. Это ей покажется обидным.

— Как знаешь, как тебе лучше. — Соня справилась со своим смущением. — Имей в виду: это, как говорят по-английски, всегда открытое приглашение.

Она взглянула на часы и всплеснула руками:

— О Боже! Мой перерыв кончается.

Она подозвала официанта, расплатилась кредитной карточкой и попросила вернуть сэндвич, к которому не прикоснулась.

— Вы тут доедайте. на здоровье, а я должна бежать, и так опоздала. Какой пример для моих подчиненных!..

Она потрепала Мелани по голове и вперевалку зашпешила к выходу.

Игорь вдруг подумал, что Лена была ровесница Сони. Как бы она выглядела сейчас, если б дожила? Конечно, есть женщины красивые и не красивые, и это уже от возраста не зависит. Но все же когда стареешь вместе, ее возраст не замечаешь. Как и своего...

— Дедушка, расскажи историю.

Мелани расправилась с гамбургером и грызла лед, извлекая его ложкой из стакана.

— Не сейчас. Видишь, я ем. А ты вытри кетчуп с подбородка.

— Ты не ешь, ты думаешь, — заметила она обиженно. Но подбородок вытерла салфеткой самым тщательным образом.

Игорь вздохнул и нехотя придвинул к себе «сабарин», огромный, как дреднот.

«... Бесценные по своему значению произведения десятилетиями лежали в столах, дожидаясь публикации. И вот сейчас это время пришло. В выполнении этой поистине исторической миссии и видит свою сегодняшнюю задачу редакция нашего журнала. В этой связи становится понятным, почему в настоящее время редакция не может принять к публикации Ваш роман — ни полностью, ни в отрывках. Тем более, что, как Вы пишете, у Вас есть возможность публиковаться в «своих» зарубежных журналах. С пожеланием успеха — главный редактор...»

Фрэнк напрасно подозревал, рукопись не затерялась, она дошла до Москвы...

Игорь перечитал письмо несколько раз. Смысл слов постепенно перестал доходить до сознания: его внимание переключилось на разговор, вернее, отдельные слова, долетавшие до него из спальни. Он сидел в столовой, разложив по обыкновению на большом столе свои конверты. Мелани сидела здесь же на ковре, листала книгу и разговаривала по-английски с яркими картинками. Дверь в спальню была закрыта, но Игорь слышал резкий высокий голос Стива и виноватый Ирин. От этой жалкой интонации у него сжималось сердце.

Все началось, когда Стив узнал от Мелани, что она сегодня опять гуляла на берегу в Санта-Монике и опять ела гамбургер. Он тут же вызвал Ирину в спальню, и вот уже полчаса там шел нервный разговор. До Игоря долетали слова «ridiculous» и «baby-sitter».

— I can't take it anymore! — сказала Ира, появляясь в дверях. Она остановилась перед Игорем, тяжело дыша и вытирая глаза рукавом синего халата. Эту смесь беспомощности и виноватности он помнил еще с тех пор, как забирал ее из детского сада.

— Ну стоит ли из-за таких пустяков, Ириша? — попытался он ее успокоить. — Объясни Стиву, что в конце концов...

— Ты не понимаешь! Ты ничего не понимаешь — ну как из каменного века... — Она замотала в отчаянные головой. — Это совсем не пустяки, папа, мы об этом говорили сотни раз. Видимо, в том мире, где ты жил...

— Ты тоже там жила.

— Я стала взрослой здесь. У нас разные представления. Давай наконец признаем этот факт.

Она села на стул рядом с ним и, помолчав, заговорила:

— Нам нужно очень серьезно решить, так продолжаться не может.

— Я просто не успевал сегодня... Я сейчас объясню...

— Папа, не в этом дело — сегодня, вчера... Ты не понимаешь: это нездоровый ребенок, и здесь важно абсолютно все — что она ест, где гуляет... Ей нужен специальный уход. И потом — русский язык...

— В этом-то что плохого? Пусть знает иностранный язык.

— В том-то и дело, что не будет толком знать ни того, ни другого!

— Подожди, к чему ты клонишь? Ты... вы не хотите...

Он внимательно посмотрел в ее глаза, испачканные растекшейся тушью. Она опустила голову.

— За эти три года, что ты у нас жил... Мы очень благодарны тебе за Мелани, но постарайся понять: уход за детьми — это профессия. Мы хотим прибегнуть к профессиональной помощи.

— Вы хотите нанять няню?

— Мелани сейчас в таком возрасте... и ее здоровье...

— И она будет здесь жить?

— Она постоянно должна быть при ребенке.

— Теперь понял: я должен освободить помещение.

— Папа, мы прекрасно понимаем твою ситуацию. Тебе еще семь лет до пенсии и найти работу в твоем возрасте... Мы готовы тебе помогать материально, если надо. Доплачивать. Можно найти недорогую квартиру...

Вопль буквально потряс дом — как взрыв. Стив выскочил из спальни. Мелани билась в истерике на ковре и вопила пронзительным голосом: «I don't want him to go!» Ничего

подобного раньше с ней не случилось.

Стив требовал везти ребенка медленно к доктору Кэплану, но Ира взяла ее на руки и понесла в детскую. По дороге Мелани дергалась и вырывалась. Через полчаса непрерывного плача Ира вышла из детской и позвала Игоря:

— Она требует тебя.

Игорь вошел к ней с сердитым лицом:

— В чем дело, почему не спишь?

Она перестала рыдать и села в кровати:

— Ты не уйдешь? Promise me! Не уйдешь?

— С чего ты взяла?

— Я знаю, ты хочешь жить у Сони. Promise! Now!

— Хорошо, хорошо. Спи сейчас, потом поговорим. О-кей?

— О-кей. — Она несколько успокоилась. — А ты расскажи историю.

— Какую историю?

— Как мама была маленькая...

Она долго не засыпала, начинала снова плакать, требовала заверений, что он не уйдет, и снова просила рассказать историю. Когда она наконец уснула и он вышел из детской, в доме было тихо и темно.

Игорь осторожно прошел в кухню,

постоял в темноте, прислушиваясь. Вроде все спят. Поразительный все-таки ребенок. Неужели она поняла разговор в ресторане?

Он зажег свет над телефоном, взглянул в записную книжку и набрал номер. Соня ответила не сразу.

— Почему у тебя такой голос? Ты нездорова? Или спишь?

— Нет, я не сплю.

— Извини, что так поздно. Знаешь, я насчет этого разговора... ну, сегодня в ресторане. Открытое приглашение, ты сказала. Помнишь?

— Конечно, помню.

— Я подумал и решил им воспользоваться. Слышишь? Але!.. Слышишь? Почему ты молчишь?

— От радости, — сказала Соня изменившимся голосом. — Я молчу от радости.

Наступила пауза: он не знал, что сказать. Потом она спросила:

— Хочешь, я сейчас за тобой приеду?

— Нет, сейчас не надо. Мелани завтра проснется и крик подымет. Сделаем это в выходной, когда все дома, не так заметно будет.

— Как хочешь, — в ее голосе Игорю послышалось разочарование. — А до выходного ты не передаешь? Игорь положил трубку.

НАУЧНАЯ ИСТИНА

Дождливым осенним вечером 1941 года в дверь каморки в полуподвале дома номер восемь по Шорной улице громко постучали. Еще недавно здесь жил дворник, но с 16 июля, когда по приказу германских властей евреи оккупированного Минска были переведены в специально отведенный для них район, в каморке поселился профессор Иоффе с женой.

Громкий стук в дверь обычно не сулил обитателям гетто ничего хорошего...

Профессор молча переглянулся с женой и приблизился к двери. Прихожей не было, дверь открывалась прямо на улицу.

— Кто там? — спросил профессор, на всякий случай по-немецки.

Вежливый голос ответил на безукоризненном немецком:

— Могу ли я поговорить с господином профессором Иоффе?

Профессор с трудом отодвинул завес, явно рассчитанный на силу дворника, приоткрыл дверь, пропуская в комнату высокую фигуру в мокром черном плаще.

Вшедший стянул с головы капюшон, пригладил ладонями растрепанные волосы и посмотрел на профессора. Его молодое румяное лицо со светлыми глазами кого-то напоминало.

— Чем могу быть полезен? — спросил профессор по-немецки и поклонился — такой вопрос следовало задавать с поклоном, он усвоил это в юности, в Берлинском университете.

Молодой человек развел руками и сказал по-русски:

— Неужели я так здорово изменился? Семен Евсеевич, это же я, Раухе, не узнаете?

— Господи! — скорбно выдохнул профессор. — Алик! Ну как я мог

не узнать вас сразу? Входите, входите!

Входить было некуда, Раухе и так был в комнате. Он снял мокрый плащ и, свернув, положил его на пол у двери. Рядом с плащом он поставил толстый портфель.

— Позвольте представить вас моей супруге. Ева, это Алик Раухе, ты слышала о нем тысячу раз. Ну диссертация по хазарам... Помнишь, его статья в «Вестнике» наделала шуму?

Раухе покраснел и замотал головой:

— Что вы, Семен Евсеевич!..

Представляясь Еве Исаевне, он шаркнул ногой:

— Альберт Раухе. Очень приятно. Его отглаженный костюм странно контрастировал со всей обстановкой.

Ева Исаевна освободила для него единственный табурет, а сама села на кровать, покрытую стеганым одеялом.

— Садитесь, прошу. Видите, как живем?..

Она повела рукой, словно приглашая осмотреть закопченные стены, расшатанный деревянный стол, железную печурку в углу.

— Это не самое страшное, — сказал профессор, присаживаясь на кровать рядом с женой. Он сильно похудел за то время, что Раухе его не видел, лицо потемнело, но длинные седые волосы не поределели и голубые глаза все так же ясно смотрели из-под густых бровей.

— А что самое страшное? Каждый день ждешь... — Ее голос прервалось, она плотно сжала губы и закрыла глаза.

— Ладно, Ева, — профессор дотронулся до ее руки. — Не надо опять об этом... Давай лучше послушаем Алика.

Он повернулся к Раухе:

— Как вы очутились здесь? Вы ведь в гетто не живете, верно?

— Нет, нет, я живу в Берлине. Собственно, вся моя семья живет в Берлине: мой отец получил назначение на довольно большую должность.

— В Берлине? — переспросила Ева Исаевна.

— Да, в Берлине. Я служу в Министерстве по делам восточных территорий. Мы переехали еще в начале августа... — Он смущенно улыбнулся. — И знаете, с тех пор я ни разу не говорил по-русски.

— Значит, в министерстве? — перебил его профессор.

Раухе пожал плечами:

— Я научный консультант по истории и этнографии южной России — это, собственно, и есть моя специальность. Люди в министерстве, между нами говоря, не особенно разбираются во всем этом. — Он вдруг рассмеялся. — Простите, я вспомнил, как один коллега на днях перепутал грузин с гуннами, а другой всерьез утверждал, что цыгане — потомки скифов. Так что видите, с какой публикой приходится иметь дело.

— Вижу, — неопределенно отозвался Семен Евсеевич.

— Я это рассказываю не без умысла. Я ведь к вам по делу: как раз с одним из вопросов!

— Насчет грузин или гуннов?

Раухе вежливо улыбнулся шутке профессора:

— Нет, гораздо хуже — насчет караимов. Вы не представляете, что творится в министерстве из-за этих караимов. Прямо война междуусобная...

Раухе встал с табуретки и попытался пройти по комнате, но тут же натолкнулся на стену и сел на место:

— Они просто одержимы хазарской теорией! Казалось бы, камня на камне не осталось от этих выдумок, а нет — поговорите с моими коллегами, они вам скажут, что это точно: караимы происходят от хазар. А какие доказательства? А вот, караимы говорят на тюркском языке. Простите, я им возражаю, восточно-европейские евреи говорят на идиш, то есть на германском диалекте. Но не станете же вы утверждать, что они произошли от немцев?

Раухе сокрушенно всплеснул руками.

— Знаете, Семен Евсеевич, по моему, хазарская теория сродни мифотворчеству. Жили когда-то мифические хазары... Пушкин их упомянул... А тут вдруг перед тобой — живой потомок хазар. Романтично, что ли? А последователь еврейской секты — не романтично.

— Да нет, Алик. — Профессор Иоффе вздохнул. — Я думаю, все гораздо проще: сами караимы в России настаивали на этой теории... правильнее сказать — гипотезе. Соображения у них были сугубо практиче-

ские: отмежеваться от еврейства, чтобы к ним не применяли антиеврейских законов. И весьма преуспели. Все это носило чисто конъюнктурный характер поначалу. А потом — пожалуйста — «теория»... В других странах, в Египте, скажем, тамошним караимам и в голову не приходило отмежевываться от своего еврейского происхождения. Наоборот, на каждом углу кричали, что они-то и есть подлинные евреи!

— Господи, да я все эти доводы тысячу раз...

Раухе вскочил, схватил с пола свой портфель, открыл его и начал копаться в бумагах. Потом махнул рукой:

— Я вам лучше так все расскажу, без этих докладных.

Он сделал паузу и продолжал:

— Не знаю каким образом, но еще до войны, в циркуляре от второго января тридцать девятого года, было записано, что караимы произошли от хазар и потому в расовом отношении ничего общего с евреями не имеют. Затем начинается война, наши вступают в Польшу, Литву; на восточных территориях оказываются тысячи караимов — и никто их евреями не считает. Наконец, наши приходят в Крым, и вот там-то и начинается!.. Кто такие крымчаки? Евреи? Но они неотличимы от караимов! Значит, и караимы — евреи? И вот уже в Киеве каких-то караимов хватают как евреев. А из Тракая от главы караимов идут отчаянные жалобы. Появляются ходатаи: караимы-де не евреи. К этому времени я уже работал в министерстве, и мне предложили написать объяснительную записку. Я пишу как есть: что крымчаки — евреи, что караимы — тоже евреи, но имеют некоторые религиозные отличия: не признают Талмуд, не верят в приход Мессии, не едят горячей пищи по субботам... Ну, вы знаете. И вот эта записка с сопроводительным письмом моего непосредственного начальника попадает к самому министру, к Розенбергу... Все это строго между нами, Семен Евсеевич, вы должны понять...

Раухе понизил голос.

— Тот, говорят, прямо рассвирепел. Что же получается? Циркуляр от тридцать девятого года неверен — и вся политика в этом вопросе ошибочная? А люди, которые все это делали, они здесь, в министерстве,

и они, конечно, насмерть бьются за свою правоту. Ох, Семен Евсеевич, если бы вы только знали! До научной истины никому дела нет — у каждого своя чиновничья амбиция. Ну и пошло! Пишут опровержения на мою докладную, цитируют Фирковича, вытащили книжки советских ученых. Хазары — и всё тут!..

Раухе перевел дух. Иоффе тоже молчал. Ева Исаевна сидела сосредоточенная, с закрытыми глазами, и невозможно было понять, слушает ли она разговор или прислушивается к звукам, доносящимся снаружи.

— Вот тогда я и придумал ход.

Раухе торжествующе посмотрел на супругов.

— Я сказал им: давайте проведем экспертизу. Давайте выслушаем мнение по этому вопросу крупных еврейских историков. Кто же может знать предмет лучше?

— Еврейских историков? — переспросил профессор. — Это, собственно, как понимать? Имеются в виду историки — евреи по национальности или специалисты по истории евреев?

— Ну, это значит: евреи — специалисты в данном вопросе. Там, в министерстве, меня отлично поняли. И согласились! Можете себе представить?

— Согласились, — проговорил профессор. — Ну и кто же эти «еврейские историки»?

Раухе хлопнул себя ладонями по коленям:

— А уж кандидатуры подсказал я... Вы знаете, откуда я сейчас приехал?

— Из Берлина. По-моему, вы сказали — из Берлина.

— Я живу в Берлине. А сюда я приехал непосредственно из Варшавы. А там я виделся... догадайтесь, с кем? С профессором Балабаном!

— С Меиром? — оживился Семен Евсеевич. — Как он там?

Раухе покачал головой:

— Нельзя сказать, что хорошо... В общем, так же как вы.

— В гетто?

— Да, но... Я сказал профессору Балабану: кое-что можно изменить... в известных пределах, конечно. Я никакой административной власти не имею, но я получил заверения своего непосредственного начальника, а он человек влиятельный и очень заинтересован в результатах этой эк-

спертизы. В двух словах я могу объяснить ситуацию. Он в министерстве человек новый и с большим будущим, как все говорят. Он не связан ошибками прошлого руководства и сразу поддержал мою докладную. Для меня это вопрос научной истины, а для него — карьеры . . .

— Если я догадался правильно, меня тоже привлекают для экспертизы?

— Конечно! Господи, разве я до сих пор этого не сказал? Вот же, вот же . . .

Он опять схватил свой портфель и извлек плотную коричневую папку. Из нее он бережно вынул документ на бланке, украшенном орлом со свастикой в когтях.

— Вот, пожалуйста, официальная рекомендация привлечь вас в качестве эксперта.

Он положил бумагу на одеяло рядом с профессором. Тот, не притрагиваясь, разглядывал ее с интересом. Через некоторое время он проговорил без всякого выражения:

— Чуть ли не все мои работы перечислены . . .

— А как же, — с гордостью отозвался Раухе, — я целый день провел в библиотеке. Это было не просто: в общем фонде их нет. Ну, вы знаете государственную политику в отношении неарийских ученых . . . Но в специальном хранилище я разыскал. Да! Можете себе представить, я держал в руках даже рукопись вашей диссертации! С вашими правками — можете представить? . . .

Это замечание не произвело на Иоффе впечатления. Все тем же бесцветным голосом он сказал:

— Вы говорите — научная истина. А привлекали для экспертизы только противников хазарской теории: Балабана, меня . . . кого еще?

— И что из того? — Раухе искренне недоумевал. — Вы же сами говорите, что это никакая не теория, а просто политическая спекуляция . . .

— Да они их убьют! Они их будут убивать, как нас, ты что — не понимаешь? — вдруг прокричала срывающимся голосом Ева Исаевна. Лицо ее стало пунцовым. — Этих людей надо спасти, слышишь, Семен? Иначе их будут убивать как евреев!

— Ева, ради Бога успокойся! — Иоффе взял жену за руку. — Почему ты кричишь? Мы же только обсуждаем . . .

— Как ты можешь это обсуждать? Он предлагает уничтожить еще один народ — ты это будешь обсуждать?

— Почему же уничтожить? — запротестовал Раухе. — Караимы — евреи, и должны разделить судьбу всего еврейского народа.

— Это значит — погибнуть! Вы, молодой человек, не знаете, что происходит? Нас заперли в гетто, сказали — чтобы охранить от толпы, но людей все время убивают. Уже два раза были погромы — власти ничего не сделали. На прошлой неделе опять расстреляли заложников . . . Люди мрут на этих принудительных работах . . . Неужели не ясно, чем это кончится?

— Ева, зачем ты все это говоришь?

— Как это «зачем»? Он приезжает из Берлина, от тех, кто все это сделал, и рассуждает с тобой о научной истине . . . А на самом деле они — убийцы, а он — с ними! . . .

Табуретка с грохотом отлетела в сторону. Раухе вскочил на ноги, лицо его было искажено. Он пытался что-то сказать, но не мог. Иоффе сжал руку Евы Исаевны, и она замолчала.

Тяжелая пауза длилась несколько секунд; наконец Раухе произнес:

— Я должен был . . . мне с самого начала следовало . . . Он перевел дух. — Я вполне понимаю ваше положение, оно действительно ужасно. Наверное, я должен был унасть с того, что не одобряю многого . . . Зачем нужно запирает в гетто таких людей, как вы? Или профессор Балабан? Все эти жестокости мне неприятны. Но от меня ничего не зависит. Мое дело — история, а этим занимаются другие люди. Если бы вы знали — какие . . . Но все же решения принимают не эти люди, они лишь исполнители. А такого решения — намеренно истребить целый народ — не существует. Я это могу сказать определенно, я бы сказал, если бы такое решение где-то приняли. — Голос его окреп, он говорил уже спокойно. — А что касается караимов, то, Ева Исаевна, стоит ли за них так беспокоиться? Вы знаете, сколько они причинили вреда остальным евреям? Сколько гадостей о евреях написали караимские хахамы? Один Фиркович чего стоит! Это он в 1859 году написал в Петербург, в сенат: «Караимам не присущи те пороки, которыми обладают евреи».

Потому что-де, когда евреи распяли Христа, караимы жили в Крыму. А караимы как еврейская секта появились через восемь веков после Христа... И вот эту чушь надо терпеть? Семен Евсеевич, неужели истории больше не существует?

Ева Исаевна хотела что-то сказать, но профессор опять сжал ее руку — она только покачала головой.

— Не знаю, Алик, что случилось с историей, — проговорил Иоффе. — Я больше ничего не понимаю...

— Но мы говорим о происхождении караимов, о том, что к хазарам они отношения не имеют. Хотя бы потому, что хазары исповедовали иудаизм в его обычном виде — с Талмудом, Мессией, раввинами, а караимы — нет! Это же исторические факты!

Профессор Иоффе покосился на лежавший рядом с ним на кровати документ — имперский орел со свастикой в когтях хищно смотрел по сторонам.

— Не знаю, Алик. Все это совсем не просто...

— Но позвольте! Не согласитесь же вы с хазарской теорией?

— А почему нет? — сказал профессор, твердо глядя в глаза Раухе. — Вполне возможно... Караимы говорят по-тюркски, как хазары...

Раухе дернулся, как от удара. Он хотел что-то сказать, затем резко повернулся к стене, схватил с пола свой плащ и стал одеваться. Рука застряла в рукаве. Он высвободил руку, бросил плащ на пол. Затем повернулся к профессору:

— Как вы можете, Семен Евсеевич?! Слышать такое от вас... от вас! Вы для меня всегда были воплощением ученого... если угодно — идеалом. — На глазах у Раухе выступили слезы. — Господи, вы, наверное, и не помните... Однажды на семинаре по скифам... вы еще, помню, запоздали. И вдруг заговорили не о скифах, а о науке — о ее великой истине, которая выше всякой конъюнктуры. Это ваши слова! Вы очень горячо говорили, и тогда, в тридцать седьмом году, они звучали потрясающе... Я нашел в них опору, смысл своей жизни. Посудите: в университете мне вбивали в голову, что главное — интересы пролетарской революции; дома отец шепотом объ-

яснял историческую роль германской расы. А я знал, что на свете есть одна истина — наука! Как вы можете, Семен Евсеевич!..

Профессор тяжело вздохнул:

— Семинар по скифам? Я очень хорошо помню тот день. Это было девятнадцатого февраля, в тот день арестовали Якова, моего брата. И то, что я говорил вам, предназначалось не вам, студентам, а ему... Это были мои последние слова в нашем долгом споре. Он был младшим, я его очень любил, но мы спорили... Он был предан им, как... Он был героем гражданской войны, командовал округом. Даже перед расстрелом — нам потом сказали — он кричал «да здравствует Сталин!». Когда я говорил об исторической правде, он смеялся. Он повторял, что правда — это то, что в интересах партии. Я его очень любил. Меня не радовало, что в нашем споре я оказался прав. Я в самом деле был тогда убежден, что выше науки правды быть не может.

— Тогда?.. А теперь?

Профессор покачал головой:

— Не знаю, Алик, это очень сложно... — Он подумал и, показав на документ, сказал уже другим тоном:

— Хорошо, я принимаю предложение. Свое заключение я отправлю по почте. Ничего, если оно будет написано от руки? У меня нет машинки.

Раухе поклонился и надел плащ. Застегивая пуговицы, он сказал:

— Если вам безразлична наука, подумайте о жене.

Когда он распахнул дверь, Семен Евсеевич окликнул его:

— Пойдите! Я хочу вам объяснить. Я искренне так считал — тогда. Но с тех пор я многое понял...

Раухе стоял, придерживая дверь, и вопросительно смотрел на профессора, но тот больше ничего не сказал — он опустил голову и задумался. Тяжелые седые пряди закрывали его лицо.

Раухе пожал плечами и вышел.

В основе этого рассказа лежит исторический факт: три историка-еврея по запросу германского министерства дали заключение о происхождении караимов от хазар. Имена этих историков известны — никто из них до

тех пор не был приверженцем хазарской теории, скорее наоборот... Считают, что благодаря этим трем

заклечениям караимы были объявлены неевреями и уцелели. Все три историка погибли в гетто.

«ЭФФЕКТ ЛИБЕРЗОНА»

Рассказ в эпистолярном жанре

«Глубокоуважаемый Алексей Валерьянович!

Уже несколько лет я хочу написать Вам это письмо. У меня, к сожалению, было для этого много поводов, но не хотелось идти на открытую ссору. Кроме того, Вы всегда могли «спрятаться», сделать вид, что Вы ни при чем, а действуют какие-то «посторонние силы». Хотя все прекрасно знают, что без Вашего ведома у нас в науке ничего не происходит.

Однако то, что я узнал недавно, превосходит все предшествовавшее. Если раньше Ваши действия можно было хотя бы объяснить тем, что за мой счет Вы хотели протолкнуть кого-то из «своих людей», то ведь теперь не скажешь и этого! Не ожидает же Вы, в самом деле, что Нобелевский комитет может всерьез отнестись к кандидатуре какого-нибудь Степашкина? Ведь когда год назад чья-то «таинственная рука» вычеркнула меня из всех списков кандидатов в членкоры, мне были даны (конечно, на сугубо неофициальном уровне) какие-то «разъяснения»: что вот есть у нас профессор Рахматмуллаев, не бог весть какой ученый, но, знаете, национальный кадр и вообще — полезный человек...

Алексей Валерьянович! У меня вызывает глубокую тревогу утвердившееся у нас в последние годы отношение к научным учреждениям, в частности — к АН, как к неким парламентам, где заседают не ученые, добившиеся в своей работе определенных результатов, а представители тех или иных групп населения. Действительно, если принять такой подход и считать АН чем-то вроде Совета Национальностей, то мне там делать явно нечего: чтобы представлять Биробиджан, достаточно и одного В. Гинзбурга.

Но мне отвратителен такой подход. Возможно (грешен!), я слишком серьезно отношусь к науке, а может, потому что у меня нет никаких национальных чувств, — но я решительно

не понимаю, как настоящий ученый, проживший в науке долгую и плодотворную жизнь, может опускаться до уровня толпы с ее примитивными предрассудками.

А теперь — вся эта гнусная (не могу иначе назвать) история с нобелевскими выдвижениями. Вы хорошо знаете, что я в этом не принимал никакого участия. Там вообще главными действующими лицами были американцы: доктор Уэлш из Принстона и доктор Эбнер из Массачусетского технологического института. Они же организовали публикацию моей работы в Америке. Причем я с ними лично не знаком, никогда не виделся, поскольку за границей ни разу не был. Пытался однажды, но вместо меня в Англию с докладом поехала некая Боровикова.

В начале года мне стало известно, что американцы предпринимают шаги, чтобы выставить на Нобелевскую премию мою работу, получившую название «Эффект Либерзона». Эти слухи подтвердились. Но скорее мне стало известно, что еще более энергичные шаги предпринимаются представителями советской науки для того, чтобы убедить американцев и шведов не выставлять мою работу на Нобелевскую премию. Так, Артем Куракин в прошлом месяце специально съездил в Америку и Стокгольм, где, как мне тут же сообщили, вел агитацию, убеждая всех, что работа моя еще не закончена, ожидаются новые результаты, опровергающие прежние, и тому подобная чушь. Давно известно, что Куракин никакой не ученый (достаточно просмотреть его диссертацию «Вклад Ломоносова в отечественную физику»), а держится он тем, что ходит всю жизнь у Вас в «шестерках». Кроме того, он хорошо владеет английским и французским, да и фамилия у него вполне подходящая для дипломатических поручений. Не Либерзон!..

Но почему, Алексей Валерьянович? Если с выборами в членкоры меня

оттерли, чтобы дать место Рахматмуллаеву, то здесь я кому перебежал дорогу? Не ожидаете же Вы, в самом деле, что премию дадут Степашкину? Он всю жизнь кормится Вашими идеями, но так ничего путного и не сделал. А на самом деле именно «эффект Либерсона» вышел, в конечном счете, из Ваших работ. Правда, из ранних, по теории твердого тела, — я тогда еще под стол пешком ходил, когда они публиковались.

Очень сожалею, что не могу официально считать Вас своим соавтором. Вы ведь в свое время не пожелали быть моим научным руководителем, даже официальным оппонентом стать не пожелали. Но все же косвенным образом я узнал, что скорее всего Вы знакомы с «эффектом Либерсона». Я имею в виду ставший знаменитым на всю Москву казус на банкете у того же Степашкина. Когда публика крепко поднабралась, стали, как всегда в этом кругу, поносить евреев. И тут якобы Вы сказали что-то в таком роде: «Верно, что евреи в основном проходимцы. Так же верно, что вы, ребята, бездари. А единственный гений — Либерзон». Может, не дословно, но что-то в этом роде. Ошибки быть не может: Вы еще отсыпались после банкета, а мне за утро три человека позвонили и все пересказали.

И вот это самое обидное и непонятное. Ну, гений или не гений, но ясно, что если кому из советских ученых и дадут Нобеля, то мне, а не Степашкину, не Рахматмуллаеву, не Куракину за Ломоносова, и даже, извините, не Вам. Неужели, по-Вашему, лучше никому, чем Либерзону? Ведь в конце концов я тоже советский ученый, окончил университет, в котором Вы одно время заведовали кафедрой... Где же Ваш патриотизм, о котором Вы писали в «Молодой гвардии»?

Конечно, я не рассчитываю получить ответ на свое письмо. Но хочу Вас предупредить, что времена изменились и у меня есть возможность протестовать — так громко, чтобы услышали повсюду. Я знаю, что у Вас очень большое влияние на самом «верху». Но ведь мир у нас не кончается президиумом Академии наук и журналом «Молодая гвардия»! А что если шведы не послушают Темку Куракина и дадут-таки мне премию?

Ведь после этого иностранцы с моих слов будут судить о советских ученых.

Поверьте, Алексей Валерьянович, мне совсем не хочется ссориться и предпринимать шаги, на которые меня вынуждают.

С глубоким уважением,
Ефим Либерзон.

«Уважаемый т. Е. Либерзон!

В нарушение всех правил благопристойности я не подписываю это письмо. У меня есть на это серьезные причины: я не хочу, чтобы оно было использовано недалекими и недобросовестными людьми для всевозможных инсинуаций. А мне хочется быть в нем достаточно открытым. И хотя письмо не подписано, Вы легко догадаетесь, кто автор: содержание письма докажет его подлинность.

Начну с признания, что писать это письмо мне весьма непросто: у меня такое чувство, что я должен говорить о цветовой гамме с дальтоником. Вот хотя бы Ваше заявление об отсутствии у Вас каких-либо национальных чувств — так спокойно, даже с некоторым вызовом... Интересно, могли бы Вы с такой же гордостью заявить, например, что не испытываете родственных чувств к своей матери или, скажем, что не отдаете долгов? На мой взгляд, не испытывать никаких чувств к народу, из которого вышел, ничем не лучше.

Впрочем, что толковать с дальтоником о цвете? Можно, конечно, отметить, что Вас так воспитали: с одной стороны, государственный безнациональный патриотизм, а с другой — жупел «национализма», которым клеймят любое проявление национальных чувств. Ведь от национализма один лексический шаг до нацизма...

Однако не у всех советских людей, образно выражаясь, лысина на месте национальных чувств — даже в Вашем поколении, не говоря уж о старших. К примеру, мне безразлична судьба народа, из которого я вышел. Я говорю об этом просто потому, что иначе, действительно, невозможно понять мотивы моих поступков: почему я поддерживаю каких-то совсем не блестящих ученых и пишу примитивные ненаучные статьи в «Молодую гвардию». Или почему вдруг Куракин стал копаться в трудах Ломоносова. Вам это понять трудно,

Степашкин», «шестерка Куракин». А к слову сказать, работе Боровиковой по плазме я предсказываю мировую известность, увидите.

Теперь давайте попробуем ответить на вопрос: что делать? Как поддержать «неких» и «каких-нибудь», которые, в сущности, ничем не хуже других? Как защитить их от более шустрых коллег? Просто надеяться, что «талант свое возьмет»? Нет уж, не у нас и не в наше время...

Но поддержать их — это также значит несколько придержать других. Я слышал, в Америке издали закон, обязывающий принимать негров в университеты и повышать по службе быстрее, чем более способных белых коллег. Что ж, я это понять могу... хотя представить себе что-нибудь подобное у нас просто невысказимо. Да и стыдно...

Но дальтоники эти чувства непонятны. Они знают одно: они не хуже других, и уж во всяком случае — шустрее. Значит — отдай им! По закону джунглей. И ВАК завален этими ловко скроенными и по сути бесполезными для науки диссертациями, а все советские инстанции — жалобами на антисемитизм.

А теперь — самое тяжелое — о Вашей работе. Совершенно ответственно говорю, что за последние двадцать-тридцать лет ничего более существенного в нашей области не появилось. Я эту работу заметил давно, когда она еще не называлась «эффектом Либерсона», и все время не упускал из виду. У меня нет сомнений, что это прорыв в новую область, которая, возможно, станет новой наукой. Это понимает все больше ученых.

Кстати, Вы никогда не задавались вопросом, каким образом «эффект Либерсона» уже пять лет назад попал

к американцам? Ведь работа была не закончена, только предварительные публикации появились. И вдруг они попадают на Запад! Так вот, когда встретитесь с профессором Уэлшем, спросите, кто в свое время передал ему эту работу прямо из рук в руки на Боровском симпозиуме в Копенгагене? И приготовил для него аннотацию на английском языке? (Перевод сделал, кстати сказать, Куракин.)

Можно возразить, что работа эта и так привлекла бы к себе внимание за рубежом — рано или поздно. Верно, но были дополнительные резоны: чтобы работа попала к специалистам, которые не просто высоко ценят, но и захотят заполучить автора. Разве Уэлш еще не сделал Вам предложения? Что Вас может останавливать? Почему бы Вам не уехать из страны, где Вас недооценивают, недодают знаний и должностей, мешают получить Нобелевскую премию? Я уверен, что на Западе Вы не затеряетесь. Получите Нобелевскую премию как принстонский профессор — не все ли равно Вам, человеку без национальных чувств? А нам очень не все равно: нам не нужно, чтобы единственным за двадцать лет нобелевским лауреатом из советских физиков стал Либерзон...

Вот, пожалуй, всё. Обдумайте мои доводы и примите правильное решение. Я сделал бы все возможное, чтобы Ваш отъезд прошел как можно глаже. А от меня, как Вы знаете, кое-что зависит. Может статься, чего доброго, Вы не поверите в подлинность этого письма — ведь подделали же недавно письмо Солоухина! Ну это уж, как теперь говорят, Ваша проблема...

Желаю Вам успеха — там!
Без подписи.

После опубликования этого рассказа в газете «Новое русское слово» появилась рецензия, озаглавленная «Ответ Анониму» — в виде письма к одному из двух героев рассказа, Алексею Валерьяновичу, академику. Автор рецензии Дора Штурман с тревогой писала о росте антисемитизма в современной России и о потенциальной опасности этого явления. В ответ на рецензию было написано продолжение рассказа — в виде двух писем в редакцию: одно от того же Анонима, то есть Алексея Валерьяновича, второе — от Валентины Секушиной.

«Уважаемый г-н Редактор!

Вот уж поистине в чудесное время мы живем. Экземпляр Вашей газеты со статьей Доры Штурман попал ко мне в Москву. Из текста статьи я понял, что «аноним» — это не кто иной, как я, и что ее статья — ответ на мое письмо к Либерзону. Не вижу ничего удивительного в том, что мое письмо к Либерзону попало в Вашу газету: этот документ широко распространялся в самиздате среди евреев как еще одно доказательство «русского антисемитизма». И хотя моя анонимность была многими легко раскрыта, я все же предпочитаю не подписывать и это письмо — по тем же причинам, что и прежде. Время, знаете ли, чудесное, но не настолько...

В связи с распространением в самиздате моего письма к Либерзону я получил несколько десятков частных писем от людей Вашей национальности. Тон этих писем разный — от проникновенных увещаний до грубых угроз с оскорблениями, но смысл один и тот же: караул! житья нет от антисемитизма! Не отличается в этом смысле и статья Д. Штурман — те же слышанные тысячи раз гневные обличения антисемитов и «доказательства» губительных последствий антисемитизма для русского народа.

Однако есть здесь одно обстоятельство, выделяющее ее статью и побуждающее меня, как говорили прежде, взяться за перо: статья эта написана не в Москве или Одессе, как полученные ранее мной письма, а в ИЕРУСАЛИМЕ — и в этом принципиальное отличие. Это вызывает во мне уважение если не к аргументам статьи, то во всяком случае к ее автору (хотя мною и не осталось незамеченным, что г-жа Штурман отказывает мне даже в вежливом обращении, — но это так, к слову).

Таким образом, Д. Штурман не просто стенает по поводу «притеснений», как это делают ее соплеменники в России, а совершает поступок, с моей точки зрения, единственно правильный: она уезжает. Причем не в Нью-Йорк, а в Иерусалим, то есть к себе домой. Видимо, у нее есть те самые национальные чувства, ко-

торые напрочь отсутствуют у моего оппонента Е. Либерзона.

Давайте же поговорим об этом явлении — о «русском антисемитизме». Тем более, что американские газеты, насколько я знаю, полны сообщений о страданиях евреев в современной России, о чинимых против них несправедливостях и гонениях. К примеру, в науке: пустят в доктора — не выдвигают в академики; выдвинут в академики — мешают пройти в нобелевские лауреаты. Но самая излюбленная тема ЕВРЕЙСКОЙ ПРОПАГАНДЫ — общество «Память». Вот он, русский народ — сплошь погромщики! И нет нужды, что «Память» — еще не весь русский народ, что в самой-то «Памяти» крикливые хулиганы составляют лишь небольшую часть. Все равно пропагандисты и-у нас, и на Западе размахивают жупелом: вот он, русский антисемитизм!

Говорю совершенно искренне: никогда ни от одного русского человека в самых откровенных разговорах я не слышал одобрения погромов, насилия, физической расправы с евреями. Но одно дело погром, а другое — установление истины, хотя, может, и неприятной для евреев. Зачем же объявлять погромщиком и антисемитом всякого, кто обращает внимание на странный факт, что, например, две трети всех осужденных в семидесятих годах за хозяйственные преступления — евреи, что они же, евреи, составляют сорок процентов кинорежиссеров старшего поколения, что почему-то почти все лермонтоведы — евреи? Таких примеров — не счесть... Но стоит о них заикнуться — готово, ты уже антисемит, враг мирового прогресса и Бог знает кто еще.

Лично я этого не боюсь и считаю сравнительно невысокой платой за роскошь оставаться самим собой. Но многие не выдерживают — на что и рассчитывают пропагандисты.

О чем же на самом деле идет речь во всех этих «страшных», «антисемитских» разговорах — в моем письме Либерзону, например? Да об очень простой вещи: о праве русского народа иметь свой дом. Ведь свой дом — это не только место, где ты спишь и прячешься от непогоды, это

еще и место, где ты заводишь определенный уклад жизни, свои, короче сказать, порядки. Как, скажем, евреи в Израиле.

Кстати, давайте сделаем еще одно интеллектуальное усилие и научимся отличать партийную пропаганду от интересов русского народа. Русские люди совсем не против существования еврейского государства на Ближнем Востоке. Вся эта антиссионистская истерия — явное порождение партийно-государственной пропаганды, вызванной определенным политическим курсом в определенный период. Все эти полуграмотные Бегуны — просто ударники партийной идеологии, но сейчас и партийная идеология, похоже, меняется. Не знаю ни одного серьезного русского ученого или вообще независимо мыслящего человека, который отрицал бы право евреев на свое государство. В конце концов отношения с арабами — это политическая проблема, которая со временем будет урегулирована, особенно если сверхдержавы проявят элементарную дальновидность.

Но почему бы и евреям не признать за нами право на наше РУССКОЕ государство? Это есть такое государство, где мы бы сами определяли, что хорошо, а что плохо, что соответствует нашим традициям, а что — нет. Мы бы сами развивали свою науку, доверяя ее тем, кто перспективнее, а не ловчее. Мы бы сами определили, какие писатели выражают правильнее наши национальные чаяния. В общем, чувствовали бы себя дома — как Дора Штурман в Иерусалиме. Ведь даже в церкви русские люди больше не дома: столько туда выкрестов в последнее время наперло (извините за слово).

Да, у нации, как и у индивидуума, должен быть дом, в котором эта нация сама решает, как ей жить, — этот мотив очень силен в национальном сознании. Ведь смотрите, как вскинулись либеральные американские евреи по тому (лишнему практического значения) поводу, что вопрос «кто есть еврей» будет решать израильский парламент. «Как это возможно?! — закричали тут разом адвокаты и врачи. — Ведь в кнессете шесть мест принадлежит арабам! Что же получается: арабы будут принимать участие в решении вопроса, кто еврей, а кто нет?!»

Что ж, их можно понять.

Но поймите и вы нас! Нам тоже пришло время самим решать, куда должны течь наши реки, что полезно для нашей экономики, как следует устроить сельскохозяйственное производство. У нас очень много тяжелых проблем, и решить их можно только исходя из коренных национальных интересов, а не из соображений сиюминутной выгоды: как бы сейчас прекрутиться, а там — хоть трава не расти. И ведь не растет...

И сейчас это верно, как никогда прежде... Нет нужды объяснять, в каком ужасном положении находится сегодня Россия. «Кризис» — это эвфемизм, заменяющий такие слова, как «развал», «катастрофа». России до смерти нужны люди, глубоко понимающие ее национальные интересы. Помните слова Л. Н. Толстого? Андрей Болконский говорит по поводу замены Барклая М. И. Кутузовым: «Пока Россия была здорова, ей мог служить чужой, но как только она в опасности, нужен свой, родной человек». Вот в этом все дело: России нужны свои, родные люди!

Д. Штурман, может быть, и права, что еврейская проблема — не самая главная из стоящих перед нами. Но беда в том, что без ее решения мы не можем решить и остальные, потому что засилье евреев во всех сферах интеллектуальной жизни привело к тому, что нет у нас научной, философской, художественной мысли, движимой национальными интересами. Чуждые нашей стране евреи не в состоянии дышать и жить ее болью. И нелепо их в этом обвинять: они такие, какие есть. С безошибочным чутьем они устремляются в наиболее перспективные, престижные, лучше оплачиваемые области деятельности и моментально занимают там ключевые позиции. На моих глазах так происходило повсюду: от пермонтоведения до проктологии и от физики элементарных частиц до кинорежиссуры.

Как и почему это происходило, каким образом более темпераментным от природы, социально более продвинутым и нравственно менее связанным евреям удалось повсюду опережать русских — об этом речь шла в моем письме Либерzonу. Здесь я хочу только заметить, что не стоит без конца мусолить вопрос, кто

прав — евреи или русские. Важно признать давно уже очевидную истину: эти два народа не могут и не должны жить вместе. И дело тут, уважаемая г-жа Штурман, не в антисемитизме.

Петр Великий был, может быть, единственным гением в нашей отечественной государственной политике. К тому же человек широких взглядов: «По мне будь крещен или обрезан — едино, лишь будь добр человек и знай дело», — говорил он. И действительно, главой посольского приказа, то есть министром иностранных дел, он назначил Шафирова — еврея, хоть и крещеного. И в выборе своем не ошибся: Шафиров был блестящим дипломатом. Но когда речь зашла о переселении в Россию значительной группы евреев из Голландии, Петр Алексеевич сказал ходатаям: «Вы знаете евреев, их характер и нравы, знаете также русских. Я тоже

знаю и тех и других, и поверьте мне: не настало еще время соединить обе народности».

Многое изменилось с тех пор, но не это: время для соединения обеих народностей так и не настало. Изменилось, однако, другое: теперь и у евреев есть своя страна. Так что вопрос о совместном проживании просто снят с повестки дня самой историей.

На этом и хотел бы закончить. Позвольте в заключение пожелать Доре Штурман всяческого благополучия в ее новой жизни в Иерусалиме. Я думаю, она могла бы принести огромную пользу, если бы обратила свою энергию и талант на решение многочисленных проблем своей страны, а не на борьбу с «русским антисемитизмом», существование которого представляется весьма сомнительным.

По-прежнему — без подписи».

ОТ ВАЛЕНТИНЫ СЕКУШИНОЙ: «У РАЗБИТОГО КОРЫТА МОЕЙ ЖИЗНИ»

«Дорогая Дора Штурман!

Прочитала Ваше письмо, и сразу видно, что Вы женщина в высшей степени образованная, знаете жизнь, как говорится, Человек с большой буквы. У Вас у самой смешанная семья, муж русский и дочка замужем за украинцем. Вы откликнетесь на мою беду.

Нет, я не голодаю, моей семье есть где жить, но состояние у меня, можно сказать, отчаянное, я не могу решить, что мне делать, на чем остановиться. Сейчас мне материально помогает еврейская организация «Джуиш фэмили сервис», но они мне говорят: «Надо идти работать». Я не обижаюсь, потому что они правы, сколько можно сидеть на чужой шее! Я не против работы, я из трудовой семьи и всю жизнь до второго замужества работала. Я и сейчас готова, но у меня двое детей: девочка Валя девяти лет и мальчик Андрюша пяти лет. Мне предлагают детский садик для маленького, но у дочки неприятности в школе из-за невладения языком, и она расстраивается и не хочет ходить. Я и сама тоже из-за английского языка не могу работать по специальности, а могу только на самую простую работу. Университет мне предлагает бесплатные занятия по английскому языку, но, как гово-

рится, в голову ничего не лезет, состояние ужасное, не до учебы.

Хочу Вам описать, как я оказалась у разбитого корыта моей жизни. Я вышла замуж рано, в девятнадцать лет, только окончила техникум, в людях не разбиралась. Так, ничего на вид, постарше меня, но оказался бездельник и пьяница пропойный. Через год я родила девочку, и в это время терпеть уже стало совсем невозможно, я взяла ребенка и ушла к родителям. Они слова мне не сказали, говорят: живи с девочкой у нас, вместе расти будем. Мой отец имел тогда звание майора, это было в Минске. Вскоре его перевели в Москву с повышением, и я переехала с ними и с Валей как члены семьи. Отцу, конечно, дали квартиру, я устроилась на работу в НИИ по своей специальности — измерительные приборы. Отец прилично получал, я тоже работала, мама сидела с Валюшей — все хорошо.

В НИИ я познакомилась с Ефимом. Он был тогда, как про него говорили, без пяти минут доктор — в тридцать три года. Если Вы видели его портрет, то знаете его внешность — ничего особенного. Но я сразу поняла, что он за человек. Хотя вокруг его не любили, потому что он очень прямой

и где нужно с подходом, дипломатично, он прямо рубил сплеча. В работе очень требовательный, небрежности не прощал. Кому это нравится! Он и на меня, помню, в первый раз накричал за то, что прибор зашкалило, а я не сразу разобралась. А на другой день подошел и говорит: «Вы не обиделись!»

Потом я стала замечать, что он заходит даже без особого дела, старается задержаться. Вы знаете, ведь женщина сразу это чувствует. Вел себя очень несмело. Я сама ему однажды предложила: не хотите, мол, после работы пройтись? Стали встречаться, дружить. Мне нравилось, что на работе он такой решительный, а в личной жизни стеснительный. Он потом мне сказал, что с женщинами ему всю жизнь не везло. Я полагаю, это оттого, что он считал себя некрасивым. Ну а потом он с детства был погружен в науку, на другие вещи времени не хватало.

О замужестве, прямо скажу, я и не мечтала, понимая, что не пара: он почти что доктор, а я с техникумом да с ребенком. Была и еще одна причина: я знала, что отец мой ни за что не согласится из-за его национальности. Он мне еще в детстве говорил: за кого хочешь, только не за еврея. И когда почувствовала себя беременной, ничего такого не думала, а просто сказала ему для сведения, что, мол, так и так, надо что-то предпринять. Он побледнел, сказал: подожди до завтра — и убежал. Завтра не пришел, и послезавтра не пришел, а на третий день отшел в сторону и говорит: давай поженимся, не возражаешь!

Он жил в двухкомнатной кооперативной квартире в Измайлове с матерью, которую привез из Бобруйска, они оттуда родом. Я очень боялась с ней встречаться, понимала, как она ко мне должна отнестись — при такой разнице в культурном уровне и притом другой национальности. Но встретила меня Дора Евсеевна хорошо [тоже Дора, обратите внимание]. Конечно, очень уж счастлива она не была — прямо мне так и сказала. Но, говорит, это его дело, он взрослый, ученый, кого он выбрал, того я готова принять. И относилась ко мне хорошо и к детям моим — мы ведь все там поселились. Я по гроб жизни ей благодарна буду за это, потому что отец

мой такое нам закатил... вспоминать не хочу! Убирайся, говорит, со своим жидом в Израиль, чтоб духу твоего не было. А я еще на вас там бомбу спущу! Ей-богу, так и заявил. Ты, говорит, мне больше не дочь, ты меня предала! Ты перешла в стан врага... ну и все такое. Я с тех пор с ним ни разу больше не виделась.

Мама с отцом не спорила, она никогда ни в чем ему не перечит, но до самого моего отъезда к нам ходила. Потихоньку от отца, конечно. И в роддом ко мне бегала, и потом домой. С Дорой Евсеевной они хорошо находили общий язык.

Ефим докторскую защитил на другой день, как я вернулась с Андрюшей из роддома. Ну поздравляли, на банкете все: «гений», «великий ученый»... Он еще тогда нам с Дорой сказал: «Они мне ходу не дадут». Я этого понять сначала не могла, чего, думаю, еще надо! Ведь и так доктор, чего еще! А потом поняла, как это обидно, когда ты заслужил, а тебя не пускают, твое законное тебе не дают. За границу его не пускали — невыездной. А его наперебой зовут повсюду. Так его еще директор угваривал иностранцам письма писать, что, мол, извините, но приехать не могу, очень занят. И посылали вместо него Боровикову или еще кого...

И не только с этим, а со всем: и с публикациями, и с выдвижением в членкоры, а самое главное — средств на лабораторию не давали. Мы вместе почти шесть лет прожили, и я все время видела его расстроенным. «Ты, — говорил, — Валя, лучше в это не вникай, хватит того, что я не сплю». Ну а потом ему рассказали про историю с выдвижением на Нобелевскую премию — как наши представители ездили отговаривать шведов. Он очень тогда рассердился и написал письмо академику К., он считал его своим главным преследователем.

Конечно, он не рассчитывал на ответ, он хотел только, чтоб как можно больше народа узнало, что происходит. Но вот однажды входит после перерыва к себе в кабинет, а у него на столе письмо лежит от академика К. — правда, без подписи. Но Ефим не сомневается, что настоящее. Кто принес — неизвестно. Известно только, что с утра в институт заезжал Куракин, «шестерка» академика. Но

это так — подозрение, а доказательств нет.

Не скажу, что до письма академика К. он не заговаривал про отъезд. Бывало, откажут ему в чем-нибудь или как-то там обидят, он сразу мне: «Уедем отсюда!» Но это так, сгоряча, несерьезно. А тут, после письма, он стал всерьез заговаривать. Понимаешь, говорит, они и так уверены, что я подам на отъезд, и все равно ко мне такое отношение, будто я уже подал. И еще очень на него анонимки эти действовали, он стал письма получать, что всё, мол, тебе мало, давай, убирайся отсюда. Там под арабскими пулями тебе, может, лучше будет. И подпись — «Патриот» или «Русский ученый».

Господи, как он боялся — словно чувствовал, что добром это не кончится... Из этого НИИ еще никто не уезжал, подал за все время один Утевский, так и сидит седьмой год в отказе по секретности, хотя какая там у него секретность!

А у нас еще хуже: отец мой ведь ни за что не даст согласия, просить — только время терять. Так без письменного согласия отца и отнесли бумаги в ОВИР. А там не принимают, где, говорят, согласие! Ну Ефим с ними в крик, вы, говорит, обязаны принять документы, а потом уже отказывайте, если что неправильно. Нам было очень важно, чтоб приняли и отказали — тогда мы бы хоть отказниками стали, а то если вообще бумагу не приняли, то никто, даже не отказник, но все знают, что пытался, и отношение — соответствующее...

Сидим мы, значит, дома, ждем отказа по причине, что нет согласия отца, а нам из ОВИРа приходит документ: ваше заявление на выезд в государство Израиль для воссоединения с родственниками принято для рассмотрения и решение будет сообщено в установленные сроки. Мы прямо обалдели. Ефим говорит: «Не иначе, мой лучший друг, академик К., помогает. Очень хочет, чтобы я уехал». Отец мой узнал, чуть ОВИР не разнес, а они говорят: «Ничего не знаем — указание выше». Так ни с чем и ушел.

Никто поверить не мог, когда мы через три с половиной месяца получили визы. У бедняги Утевского чуть инфаркт не случился. Не буду Вам описывать, как я расставалась

с мамой — увидимся ли когда!.. Дору Евсеевну мы очень хотели с собой взять; нет, уперлась, ни за что не хочет: здесь, говорит, мой дом, здесь умирать буду. И еще, конечно, с дочкой не хотела расставаться, со старшей сестрой Ефима. А с сыном и внуком рассталась...

Еще из Рима Ефим написал в Америку профессору Уэлшу, переводчица из ХИАСа помогла. Профессор сразу же ответил: очень рад, что Ефим на свободе (так и написал), в Америке все специалисты его знают, и он уверен: работа Ефима «Эффект Либберсона» в конце концов получит Нобелевскую премию. Он нас и в аэропорту встречал, доктор Уэлш.

Ну а потом началась история с устройством на работу. Преподавать они его брали хоть сейчас, но он не мог, по-английски не говорил. Не то чтобы совсем, но не так хорошо. Читать читал, научился еще в аспирантуре, а говорить не мог. Они ему бесплатные уроки по языку предложили в университете, но тоже проблема: нас «Джуиш фэмили сервис» поселил в Бруклине, это до университета два часа, а то и больше в один конец. На исследовательские работы тоже брали, но сначала, говорили, нужно средства получить, а это с будущего учебного года.

Ужасно он расстраивался от всего этого, переживал. Я ему говорила: «Да брось ты, все придет постепенно. Кончит нам «джужишка» платить, я пойду работать куда-нибудь, а ты сиди с детьми и устраивайся на работу». Но он не мог сидеть без своей работы, очень переживал.

И тогда, третьего марта, пришел расстроенный после разговора с профессором Эбнером. Я его попросила с Валушкой в магазин пойти, она все джинсы просила — в школу ходить, а то, говорит, надо мной все смеются, что я в советской форме. Он не пошел — устал, говорит, и лег на диван в гостиной. А я с детьми весь вечер провозилась, спать их уложила, смотрю, он тихо лежит. Ну я беспокоюсь его не стала, легла в спальне. Под утро что-то мне неспокойно стало, пошла в гостиную, а он как-то странно лежит, как неживой. Я: «Фима! Фима!». А он уже холодный.

Трех месяцев не дожил до сорока лет.

Похороны вспоминаю, как страшный сон: все незнакомые, ничего не понимаю, сказать ни слова не могу... Гроб почему-то закрытый. Я говорю: дайте мне с ним проститься, а мне Аня, переводчица из «джушки», объясняет, что нельзя, гроб должен быть закрытый, это еврейский обычай. Речи говорили. Мы с детьми стояли, как чужие.

Так и похоронили...

И вот я одна в чужой стране, среди незнакомых людей, без языка, без родных. Как я смогу детей поднять! Посмотрю на них — плачу. Наверное, при теперешних отношениях я могла бы вернуться домой. Но где он, мой дом! Дора Евсеевна сразу же, как мы уехали, поменяла квартиру на

Харьков и живет с семьей своей дочки. Я там ни при чем. У отца из-за меня были неприятности на службе, с него допуск сняли из-за того, что дочка за границей. А без специального допуска его перевели на другую должность и отправили куда-то на Урал — мама мне еще даже адрес не сообщила. Нет, к ним я тоже вернуться не могу.

Что же мне делать! Ночами не сплю. Пожаловаться не могу: относятся ко мне хорошо, сочувствуют. Но ведь самой нужно что-то делать, нельзя же все время на чужой шее...

Дорогая Дора Штурман (не знаю Вашего отчества)! Очень хочу получить от Вас поддержку и совет.

Ваша Валентина Секушина».



Поют латыши



Белла Дижур и переводчица Салли Блюмис

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О СЕБЕ

На всем обозримом пространстве карты мира я вглядываюсь в три точки. Вот Ленинград — город моей юности. Здесь зрела моя душа.

А вот Свердловск. В этом городе я прожила большую часть своей жизни. Там родились мои дети, там остались дорогие сердцу могилы: мужа, отца, матери.

А вот Юрмала. Чудесный уголок земли на берегу Балтийского моря. Последние семь лет перед отъездом на Запад я жила здесь в качестве «отказницы», со всеми последствиями, вытекающими из этого «качества».

Три города Родины. Три болевые точки.

С июня 1987 года я живу в Нью-Йорке.

Первые стихи, очерки, статьи печатались в различных коллективных сборниках и журналах: «Ленинград», «Молодая гвардия», «Уральский современник», «Урал», «Уральский следопыт».

Вышли три сборника стихов: «Раздумья», «Улей», «Добрый вечер» (Средне-Уральское книжное издательство).

«Детгиз» в Москве одну за другой публиковал мои книги научно-художественного жанра для детей. Вот названия основных: «Зеленая лаборатория», «Путешественники-невидимки», «Горсть соли», «Фонарь Земли», «Почему ты оставил друга», «Жалобная книга природы», «От подножья до вершины», «Стеклянная река», «Волшебные руки труда и науки», «Конструкторы молекул».

Все эти книги неоднократно переиздавались и переводились на многие языки народов СССР, а книга «Стеклянная река» — на японский и немецкий.

Моя поэма «Януш Корчак» в Польше переводилась на польский и еврейский языки.

За эту поэму я получила медаль им. Корчака от Польского Корчаковского комитета, а Корчаковский комитет ФРГ присвоил мне звание лауреата Корчаковской премии.

За два года, что я живу в Нью-Йорке, мои стихи и очерки публиковались в местных газетах «Новое Русское слово», «Панорама» и журналах «Слово», «Континент», «Время и мы», «Стрелец». А также на моей бывшей родине — в свердловском журнале «Урал».

В октябре—ноябре 1989 года в Нью-Йорке выйдет из печати сборник моих стихов «Тень души»* на двух языках: русском и английском, с иллюстрациями моего сына Эрнста Неизвестного.

ЮРМАЛЬСКАЯ ВЕСНА

* * *

Гремело небо над морем,
Гудели сосны на дюнах.
Море яростно пенилось,
сопротивляясь шторму.

Я слушала, как оно стонет
под ураганным ветром.
Что оно вспоминает?
О чем позабыть не может?

Я видела, как чистоплотно
выбрасывает на берег
давно истлевшие травы —
зловонный мусор веков.

И был в голосах прибоя
отзвук родной стихии.

Ведь я, как и эти травы,
росла в морской колыбели,
в узорной, тесной ракушке
спала младенческим сном,
пока в недоступном небе
боги чужой вселенной
решали судьбы всех тварей
и среди них мою.

* * *

Мне снится берег — морской, пустынный,
на черном небе белая луна,
я собираю в большую корзину
янтарные звезды с морского дна.

Я лица любимые забываю.
Как дух бесплотный, иду по волнам.
Но это не я, не я живая,
И волны не волны — ступени в храм —
высокий, воздушный, из влаги и света,
из паутинных лунных лучей,
Он серебристо-зеленого цвета
в нем лунные своды
и он — ничей.

* Стихи и предисловие автора редакция получила в 1989 году. Сборник стихов Б. Дижур уже издан.

Вот я вхожу под священные своды.
Отныне — это мой новый дом.
Но как я грущу о бывлой несвободе,
о, как тоскую я о бывлом.

Тело мое совсем невесомо,
янтарная ноша не тяжела . . .
Но как далеко — далеко от дома,
от дома, где я счастливой была.

РОДСТВО

Я не догадывалась раньше,
что куст рябины мне родня,
что он когда-то в прежних жизнях
отпочковался от меня
и стал растеньем,
а не прахом.

Он рос и расцветал без страха,
затем, не осознав беды,
он напоил горчайшим соком
свои багровые плоды.

А в этой горечи нетленной
жестоккой жизни торжество
и наша боль, и наша сила,
и наше кровное родство.

* * *

Ходит, бродит обо мне молва,
что живу, гордыни не смилив.
Соберу банальные слова,
сочиню веселые стихи —
незадачливый речитатив
и исполню голосом лихим,
все людские вопли перекрыв.

Я всему живому друг и брат.
Ничего на свете не боюсь!
А когда подкатит мой закат,
я в траве поющей поселюсь.

Мой веселый, мой печальный стих
сохранится в дудочках живых.

ЮРМАЛЬСКАЯ ВЕСНА

1

Вся Юрмала в сиреновом дыму,
И аромат ее во всей вселенной.
Теперь понятно стало: почему
Молитвенно и необыкновенно
Вознес каштан свои сто тысяч свеч
И вспыхнул восковыми огоньками,
А с узловатых яблоневых плеч
Сбегает бело-розовое пламя.

Живу под яблоней.

Таков мой новый дом.
 Рабочий стол и белая бумага.
 Я на рассвете за своим столом,
 и почитаю это высшим благом.
 Мои друзья — улитки и жуки,
 и бабочки оранжевого цвета —
 они берут еду с моей руки
 и усиками шевелят при этом.
 Сиреневые капельки росы
 я подаю им.
 Только, бога ради,
 чтоб не осталось желтой полосы
 на белой незапятнанной тетради.
 Здесь вырастают за строкой строка,
 как веточки незрелого растенья.
 В весеннее круженье ветерка
 вплетается мое стихотворенье.

* * *

Вот остров. Вот дом на сваях.
 Черный бревенчатый дом.
 С раскрытым настежь окном.
 Зеленые волны его омывают,
 Но в нем никто не живет
 Вот уж который год.
 Лишь я одна здесь живу,
 Сушу морскую траву,
 Варю из нее обед.
 И мне уже тысячи лет.
 А там, где я раньше жила,
 Где раньше меня любили,
 Считают, что я умерла,
 Оплакали и позабыли.
 А я все живу и живу . . .
 Под грохот волны зеленой,
 Друзей на обед зову
 По оглохшему телефону.



МАРАФОН

Рассказ

В сервировке праздничного стола он не участвовал. Ни к чему не прикасался. Все сделала супруга и особо приближенные дамочки. Обыкновенно он сам занимался такими делами. Но сегодня ему выходило сорок лет, и по сему случаю произошло его полуторжественное отлучение от передника и тарелок.

Посмотрев со стороны, как оно все происходит, он взял авоську и отправился в гастроном за шестью бутылками минеральной воды «Славянская», которая ему была заначена знакомым грузчиком.

Леонид МОГИЛЕВ родился в 1953 г. в Иркутске, окончил Воронежский политехнический институт. В Латвии с 1987 г. Публиковался в журналах «Родник», «Наука и техника», сборнике «Голоса», в газетной периодике Латвии и Литвы. Член республиканского литературного объединения молодых авторов при СП.

Было лето в самом разгоне. Тепло, сухо, а тополиный пух давно унесен ветром, смывает дождями, подметен дворниками, спален детьми. Юбиляр шел в спортивных брюках, рубашке навыпуск и почти новых кроссовках, и хотя радоваться было нечему, тихо и разумно радовался. И, чтобы продлить радость, сделал небольшой крюк, оказался на школьном стадионе, где сейчас гоняли мяч пацаны и взрослые дяди, посмотрел немного на игру и даже пробежался по дорожке. «Тартановая», — подумал он автоматически. Он пробежал полный круг, ничуть не запыхался. Тартан сладко ударял по мышцам. Если не умеешь бегать, потом все болит, да и если умеешь, тоже. Когда-то он имел первый разряд в спринте, но дальше не пошел. Жизнь началась.

Тут к нему подкатился мяч, он вернул его в поле щечкой и, чрезвычайно довольный этим, отправился к гастроному. Шел по аллее и думал о том, что когда-то хотел пробежать марафон. Но, будучи знакомым с оборотной стороной спортивных утех, этого не сделал. Когда-то.

К сорока годам он немного подраспустился, а зонхонько имел брюшко и не жалел об этом. А кто его не имеет в эту пору жизни? Он получил.

Работал он начальником отдела, что тоже было нормальным в его возрасте. Сегодня должны были прийти его коллеги, друзья семьи, родственники по линии жены и другие постоянные, корректные и лицеприятные люди. И они пришли.

Впрочем, приходили постепенно. Пока женщины любезничали на кухне и в зале, мужчины сидели в комнате, курили, в основном молчали. И он тоже сидел с ними и думал, как сделать веселей. Он выглянул в коридор, там никто не просматривался, тогда он прикрыл дверь, достал из бельевого шкафа «свою» бутылку водки, из стола стаканчик, и сразу все зашевелились, подошли к столу, заговорили, пустили стаканчик по кругу. Он предложил орешки, но никто закусывать не стал. Сидели, в желудках шевелились теплые шары, легкая пелена . . . ну, все, как и должно быть.

Да, все было так, как бывает всегда и вечно — вечно, обыкновенно, празднично и печально. И он был печален, хотя вида не подавал, «держал» разговоры, соглашался, возражал, пил, ел холодные закуски, утку, отбивные, потом пирог. Потом стали выносить тарелки, отодвигать столы, искать пластинки. Гостей было двенадцать. Даже на тайную вечерю не тянуло. Перебор был. Не получалось бытовой аналогии.

Вечер в общем-то удался. Обозначилась одна супружеская измена, была пристроена одна свободная дама, лет тридцати с лишним и с умеренным бюстом. Другая, лет двадцати пяти, куражилась, морочила кавалеров, по тому, как часто и жадно пила, видно было, что она все-таки пожнет плоды своего присутствия на этой юбилейной ярмарке.

Несбывшаяся женщина юбиляра была тут же, со своим корректно-резвым супругом, который, впрочем, ни о чем не догадывался. Она была худа и уже чуть-чуть некрасива. Он решил с ней не танцевать, но не удержался и пригласил. Они танцевали минут десять, почти не разговаривая, а он вспоминал, какая она под платьем, и от этого грустно ему стало, грустней некуда. Дальше был быстрый танец, тогда они отодвинулись друг от друга, и у них начался легкий нарочитый флирт, потом была снова медленная музыка, но уже жена прилепилась, как репей, и ему только оставалось смотреть на них обеих и сравнивать. Потом он выбрал свою норму по части выпивки, и вечер уже двигался к завершению, постепенному и обычному. Кое-кто решил уходить, говорить, «что уже поздно», их просили остаться, пахло кофе, по-

явился торт. Вернее два торта. Абрикосовый и ореховый.

Он ушел потихоньку в свою комнату, лег на диван, подождал, не взглянет ли несбывшаяся, но она не пришла, и тогда он стал вспоминать, что же было у него в жизни такого, что можно было назвать хорошим. Детство там, школьные забавы, дембель, институт, работа, отпуска на море, отпуск «на байдарках», одна женщина, другая, кубки по спринту, грамоты за колхоз осенью, потом опять почему-то демобилизация. И вдруг показалось (или оказалось), что самое-то расчудесное было сегодня, на стадионе, бегом, посреди лета, по тартану. И никаких соперников. В руках авоська и по мышцам бьет упруго и позабыто. Марафон . . . «Теперь уже никогда», — подумал он. А так как все же был отчасти пьян, ведь все-таки юбилей, то переоделся в спортивный костюм, вышел в коридор, влез в кроссовки. Один шнурок лопнул, так всегда бывает, когда торопишься, и тогда он вынул из чьих-то туфель другой, черный и тонкий, но крепкий, должно быть шелковый, а это такая гадость, все время развязываются, но выбирать было некогда.

Тут его заметили, все вышли в коридор. «На посошок, на посошок», — и он выпил еще рюмку. Закусил конфеткой и пошел вон.

На стадиончике не было ни души, и он медленно побежал по кругу, ощущая тяжесть внутри и колотье в печени, несильно, но явственно. Он пробежал круга три, когда на стадиончике появилась вся компания.

Они принесли с собой шампанское и теперь пили по очереди, из горлышка. Он бы тоже был не прочь выпить, но продолжал бежать. И когда ему протянули бутылку, он отказался. Тем более что бежать было все тяжелее. На пятом кругу пенью уже болела вовсю. И все бы кончилось благополучно. Но тут он увидел ее. Ну, ту, несостоявшуюся. И тогда побежал быстрее, подтянулся, руки прижаты, толчок с внешней стороны стопы, бедро мягко вперед, и бежать стало легче. Она смотрела, как он бежит, ее обнимал кто-то из компании, и бутылка ходила по кругу.

Марафон это 150 кругов и еще немного, меньше половины. И он решил их пробежать сейчас. Четыре

километра было уже позади. Но прежде нужно было освободиться от всего брэнного. Он отбежал к прыжковой яме, встал на колени, нагнул голову. Его вырвало. Раз, другой. Он присыпал свой грех песком, мысленно попросил прощения у школьников. «Ах, какая гадость». Компания притихла. Жена его тоже была здесь. Она дождалась его на повороте.

— Тебе плохо?

Как будто можно было подумать, что ему хорошо. И он не ответил, а продолжал отмеривать свой марафон. А так как во рту было и вовсе нехорошо, то, пробегая мимо компании, он принял большую зеленую бутылку радостного «сока», там оставалось еще немного, прополоскал рот и выплюнул поодаль. Кто-то побежал с ним, хватая за рукав. Но он ускорился, и навязчивый гость юбилейного представления отстал. Тогда бегуна решено было поймать. Они рассыпались по всему кругу, но он, как в регби, уходил от ловчих легко и непринужденно. И так прошло еще семь кругов.

Теперь заболели ноги. Мышца на левом бедре. Он всегда забывал, как она называется. Где-то работал радиоприемник. Говорил диктор. Потом был гимн. Стало быть, полночь. Но гости не расходились.

На двадцатом кругу дыхание вошло в норму, только болела та мышца, другие не докучали, и по временам сжимало сердце.

Потом мужчины перекрыли дорожку, взявшись за руки, но он проскочил по футбольному полю и снова пошел на круг. Тогда часть гостей покинула аттракцион. Остались верные друзья, молодая одинокая дамочка и — та, несостоявшаяся. На тридцатом кругу его схватили за руки. В общем-то правильно схватили. Дыхание ушло, бежал он почти с пятки и являл собой жалобу миру. Но тшкетно... Одну руку он вырвал, а вторую не смог. Крепко держал старый и верный друг. Тогда он ударил друга по лицу. Тот

выпустил руку. И он побежал снова. И тогда ушла со стадиона жена. Надежная в общем-то женщина. Она уходила и, естественно, плакала. А он бежал. Да. Все было, как и должно быть. Круги в глазах и паровой молот в груди. И ноги не бегут, и он запинается.

— Слушай ты, Хуберт Пярнакиви! Мы сейчас скорую вызовем, — проникли сквозь мрак летней ночи, невыносимо душной ночи, слова.

Тогда они сделали еще одну попытку остановить его. Один схватил за пояс, другой за запястье. Третий за ноги. Подняли и понесли. Он отдышался, и когда ослабла бдительность несущих, вырвался. Одному ногой в промежность. Другому головой в живот. Третий уклонился. А он вернулся на дорожку и побежал. Только уже не помнил, который круг, а просто переставлял ноги. Спокойно и радостно.

А несбывшаяся сидела на скамейке, подперев подбородок кулачками, и смотрела. А он переставлял ноги. И тогда вызвали «скорую». Пришлось долго все объяснять, называть фамилии и адреса. Потом ждать, когда приедут. Но дело было в том, что «скорые» не приезжают скоро к тем, кто корчится в постели, а уж к бегущему по стадиону и подавно. А он уже совсем обессилел. Только верные, побитые друзья не знали этого, не знали того, что сейчас его можно брать голыми руками. Брать и уводить. И он не мог бы сопротивляться. А они не знали. А он переставлял ноги. Он упал на сорок седьмом круге, и его опять вырвало.

Но он поднялся и, шатаясь и смеясь белыми губами, снова побежал. А когда, нет, не «скорая», а психушечный фургон подъезжал к стадиону, он уже лежал поперек дорожки, подобрал колени к животу, так как сердце его наконец не выдержало. И когда его несли, он уже был мертв. А та самая женщина все сидела на скамейке школьного стадиона.

Илга ГОРЕ,

кандидат исторических наук

«СВОБОДНОЕ ВОЛЕНЗЪЯВЛЕНИЕ» — КАК ЭТО ДЕЛАЛОСЬ

17 июня 1940 года части Красной Армии пересекли границу Латвийской Республики; одновременно с их продвижением в глубь страны происходило и переустройство ее политической жизни. Карл Улманис подал в отставку с поста президента кабинета министров (премьер-министра), оставшись на посту президента государства. Вместе с ним ушло все правительство. Возник вопрос — кто сформирует новый кабинет согласно требованиям советской ноты от 16 июня? * Ведь после того как Улманис 15 мая 1934 года, в результате правого переворота, пришел к власти, легальная деятельность политических партий в Латвии была запрещена, Сейм (парламент) распущен, действие Конституции 1922 года приостановлено.

Неразрешимый, на первый взгляд, клубок проблем чрезвычайно легко распутал заместитель председателя Совнаркома СССР А. Я. Вышинский, прибывший в Ригу 18 июня и в тот же день дважды посетивший президента К. Улманиса. На пост главы правительства был назначен А. Кир-

хенштейн — ученый, профессор микробиологии и серологии. По ряду сельскохозяйственных проблем он сотрудничал с президентом Республики, специалистом-аграрником, в 30-е годы работал в обществе культурного сближения народов Латвии и СССР, а два его брата жили в Советском Союзе. Свообразный подход был проявлен и при формировании кабинета министров. В большинстве своем в правительство вошли люди, так или иначе связанные с газетой «Яунакас зинякс»: писатель Вилис Лацис стал министром внутренних дел, писатель и журналист Юлиус Лацис — министром народного благосостояния и и. о. министра просвещения, журналист П. Блаус — министром общественных дел. Пост военного министра занял отставной генерал Р. Дамбитис, министра путей сообщения — инженер Я. Ягар, министра юстиции и и. о. министра финансов — юрист Ю. Паберз, начальником политической полиции сделался В. Латковский.* Последний не скрывая писал в мемуарах о своих связях с органами госбезопасности СССР в 20—30-е годы**. Ни одного

* 16 июня 1940 года Советское правительство, приступая к дальнейшей реализации секретного протокола к пакту Молотова — Риббентропа, направило правительству Латвии полную измышленный ультимативную ноту, в которой потребовало «честно выполнять» условия пакта о взаимопомощи между СССР и Латвией от 5 октября 1939 г., пропустить в Латвию дополнительные (к уже размещенным в 1939 году на побережье Балтийского моря) части Красной Армии и сформировать правительство, более приемлемое для Советского Союза. — Прим. ред.

* Состав правительства вызвал неодобрение среди некоторых членов Компартии Латвии. «Где же подпольщики, борющиеся за Советскую власть?» — спрашивали они. — Прим. ред.

** В 1972 году В. Латковский писал в своих мемуарах: «В 1938 году мои старые связи с советской разведкой были обновлены, и возникла необходимость эту работу активизировать. Мои встречи с ответственными работниками стали регулярными. Была создана достаточно широкая сеть информаторов...»

члена Компартии Латвии в новом правительстве не было, и поэтому 21 июня на первом заседании кабинета министров никто из коммунистов не присутствовал. Почти все руководство КПЛ и по приезде Вышинского в Ригу оставалось в тюрьме. И лишь после того, как правительство Кирхенштейна на своем первом заседании приняло Закон об амнистии, 267 политзаключенных, главным образом коммунистов, в тот же день было выпущено из рижских тюрем — Центральной и Срочной. Тем не менее в июне в правительство члены КПЛ не вошли.

Кабинет министров и КПЛ поначалу действовали довольно независимо, без оглядки друг на друга. 21 июня был образован секретариат ЦК КПЛ: Я. Калнберзин, Ж. Спуре, А. Яблонский, О. Аугусте. 22 июня собравшийся на первое заседание секретариат постановил приступить к выборам местных Советов депутатов трудящихся и согласовать свое решение об открытии предвыборной кампании с кабинетом министров. При этом учитывалась непопулярность партии в массах и небольшое число ее членов (около 1000 человек); секретариат полагал, что взять власть можно будет лишь через новоизбранные органы местного самоуправления.

30 июня на секретариате обсуждалось предложение кабинета министров о том, чтобы 4 коммуниста вошли в правительство. Был дан лаконичный ответ: «... было бы противоречиво входить в правительство и отчитываться перед Улманисом». Одновременно Ж. Спуре было поручено узнать, каков порядок выборов в Советы рабочих депутатов Риги. На этом же заседании руководство компартии утвердило себе оклады: секретарям ЦК и областных организаций — 400 латов, заведующим отделами — 300, техническому персоналу — 100—200. Сегодня трудно сказать, откуда брался фонд зарплат руководства (5—6 тыс. латов). Членские взносы составляли от 20 сантимов до 2 латов в месяц. Вероятнее всего, финансы поступали из Коминтерна, на содержании которого уже находились коммунисты, прибывшие в 30-е годы в Латвию из Советского Союза.

Июль внес перемены в политическую ситуацию в республике. 2 июля ЦК КПЛ без малейших колебаний

и какого-либо обсуждения рекомендовал в правительство четырех своих членов — Я. Вагана на пост министра земледелия, А. Табака — государственным контролером, К. Карлсона — министром финансов и Н. Приеде — на пост товарища (заместителя) министра финансов. Выборы Рижского городского Совета рабочих депутатов были отложены КПЛ на неопределенное время*, так как «поступило указание» срочно организовать выборы в Сейм. Ответственным за платформу Блока трудового народа (название было известно заранее) стал Ж. Спуре.

2 июля вступила в силу принятая кабинетом министров поправка к закону о бесприбыльных обществах, что позволяло легализоваться партиям, действовавшим в подполье. Юридически КПЛ обрела легальный статус только с этого дня, что не помешало секретариату ЦК КПЛ уже в день принятия упомянутой поправки решить судьбу другой нелегальной партии — левой социалистической (СРКПЛ), ликвидировав ее как организацию**. Добавим — до сих пор не обнаружено никаких документов, которые бы свидетельствовали о том, что КПЛ прошла официальную регистрацию в министерстве общественных дел. Видимо, такие формальности уже тогда были излишними.

Что же случилось за эти два-три дня? В последние дни июня все три представителя правительства СССР в прибалтийских странах — А. Жда-

* Отсрочка длилась до 1948 г. Все это время (за исключением периода войны) «советская власть» на местах назначалась сверху. Латвии даже в сталинских выборах Советов было отказано. — Прим. авт.

** После запрета всех политических партий 18 мая 1934 г. левое крыло социал-демократов образовало свою нелегальную партию — Социалистическую рабоче-крестьянскую партию Латвии. В 1943 году член ЦК КПЛ Олга Аугусте писала о ликвидации партии левых социал-демократов и приеме части ее членов в КПЛ: «Для того чтобы расколоть силы врагов, наш ЦК счел возможным принять некоторых социал-демократов в нашу партию с целью их последующего перевоспитания. Толку из этого не вышло. Вероятно, часть из них вновь придется исключить...» — Прим. авт.

нов, А. Вышинский и В. Деканозов — были вызваны в Москву*. Сталин, учитывая равнодушное отношение Германии к советским действиям в Прибалтике, решил изменить свою первоначальную позицию. Если вначале создавались как бы местные, условно самостоятельные правительства, то теперь Москва сочла возможным напрямую включить прибалтийские государства в состав СССР. Сравнительно быстрый и надежный путь к этому заключался в возобновлении деятельности парламентов. Сталин при этом прекрасно понимал, что, допустив обычные, законные, нормальные парламентские выборы, он никогда не дожидется от народных избранников решения о ликвидации государственности, будь то Эстония, Латвия или Литва. И еще: коль скоро вхождение в СССР неизбежно, надо устанавливать советский строй, где ведущую роль играет, как известно, коммунистическая партия. Отсюда и резкий поворот в политической жизни республики в июле.

4 июля кабинет министров принял новый избирательный закон, который был опубликован и вступил в силу 5 июля. В свете того, что правительство А. Кирхенштейна заявило о своей приверженности Конституции 1922 года, на основании которой оно будто бы и действовало, следует отметить два грубейших нарушения этой Конституции самим кабинетом министров. Первое — принятие избирательного закона, второе — оставление К. Улманиса на посту президента (хронологически второе нарушение предшествовало первому).

Согласно Конституции 1922 года решение о проведении новых выборов в Сейм мог принять только сам парламент, то есть необходимо было созвать выбранный в 1932 году законодательный орган власти и внести на его рассмотрение этот вопрос. До избрания нового президента республики этот пост должен был занять председатель Сейма, избранного в 1932 году, — социал-демократ П. Калнинь. Вот кому следовало

сидеть в кресле К. Улманиса в 1940 году*.

Хотя избирательный закон был опубликован 5 июля, уже 4 июля Ж. Спуре, на совещании секретарей парткомов г. Риги, сообщил, что «... в соответствии с распоряжением Интернационала и Секретариата (ЦК КПЛ. — И. Г.) в ближайшем будущем должны состояться выборы Сейма. **Выборы пройдут на основе первой конституции** (выделено мною. — И. Г.). И последующие ограничения отменены. Выборы надо подготовить быстро, 14 и 15 июля... На возражения, что Сейм непопулярен, следует указывать на такие пункты: 1) конституционных ограничений нет; 2) блок рабочих — в блок войдут представители рабочих, крестьян, трудовой интеллигенции. Партии, кроме коммунистической партии, не легализованы, поэтому они практически не смогут легализоваться (выделено мною. — И. Г.) в течение двух недель...»

Далее Ж. Спуре назвал все пять избирательных округов и число кандидатов в депутаты по каждому округу: Рига — 21, Латгале — 27, Видземе — 22, Курземе — 15, Земгале — 15, всего — 100. На этом же заседании было объявлено, что в Центральной избирательной комиссии будут работать представители КПЛ А. Бушевиц и А. Деглав. В одном пункте, правда, обнаруживается противоречие между сообщением Ж. Спуре и текстом опубликованного назавтра закона. КПЛ полагала — и заявила об этом, — что право голоса будет дано всем, в том числе всем нелегалстам и эмигрантам. Первая статья избирательного закона звучала иначе: «Избирательным правом наделяются все граждане Латвии, достигшие к первому дню выборов возраста в 21 год». Как показал ход выборов, действовали принципы, провозглашенные КПЛ, на гражданство никто не обращал внимания.

Словом, 5 июля новый закон о выборах вступил в силу. В этот же день был утвержден состав Центриз-

* Установление Советской власти в Эстонии, Латвии и Литве происходило от начала и до конца по одному сценарию. — **Прим. ред.**

* Не надо думать, что эти и другие нарушения закона были результатом спешки Москвы и ее ставленников. Соблюдение законности и правопорядка не привело бы Москву к желанной цели. — **Прим. ред.**

биркома во главе с А. Бушевицем. Рижской окружной избирательной комиссией руководил Я. Пупур, Латгальской — Р. Нейланд, Видземской — А. Калниньш, Курземской — П. Плесум, Земгальской — К. Платерс. Все это были члены КПЛ, занимавшие в ней руководящие посты. Через пару дней оказалось, что все председатели избирательных комиссий (окружных и центральной) сами значились в списке кандидатов в депутаты, а впоследствии стали депутатами!

6 июля Блок трудового народа республиковал платформу «За мир, за хлеб, за свободу народа!», начинавшуюся с обращения: «Граждане и гражданки свободной Латвийской Республики!» Охарактеризовав правительство Улманиса, платформа перечисляла требования блока. В них стоит вчитаться:

«Вот наши требования:

а) в области внешней политики:

Дружба между народами Латвии и Советского Союза и тесный нерушимый союз между Латвийской Республикой и Союзом Советских Социалистических Республик;

б) в области внутренней политики:

1. Широкая государственная помощь безземельным и малоземельным (крестьянам) в приобретении земли.

2. Освобождение бедных и малоимущих крестьян от долговых обязательств перед государством, налогов и т. д., а также освобождение от различных административных наказаний.

3. Улучшение материального положения рабочих и служащих, повышение заработной платы.

8. Провести демократизацию армии.

9. Обеспечить соответствующую интересам трудового народа свободу слова, печати, собраний и объединений.

10. Обеспечить неприкосновенность личности и имущества всех граждан.

11. Всесторонне развивать национальную культуру и науку, образование и искусство.

Граждане и гражданки! Укрепляйте единство народа Латвии, дисциплину и организованность, давайте беспощадный отпор всем врагам на-

рода — клеветникам и провокаторам. Враги нашего народа... распространяют различные, ни на чем не основанные слухи... о том, что целью рабочих и коммунистов является насильственная коллективизация села. Эта ложь распространяется для того, чтобы подорвать единство рабочих и крестьян...

Да здравствует свободная Латвия!»

В декларации не содержалось ровным счетом ничего из того, что готовило бы почву для изменения государственности Латвии и строительства в ней основ социализма. С учетом горького опыта Советской Латвии в 1919 году* особо подчеркивалась неприемлемость коллективизации для латышского крестьянства.

Можно даже сказать — вполне демократическая платформа левых сил...

6 июля состоялось первое легальное собрание рижских коммунистов. Его вел Ж. Спуре. О предстоящих выборах в Сейм он высказался без обиняков: «Новый Сейм определит судьбу Латвии. Этот Сейм не будет старым Сеймом, это будет подлинный Сейм трудящихся. Мы идем конституционным путем, и мы определенно заявляем о своем требовании свободной и независимой Латвии. Идя по этому конституционному пути, мы рассеиваем слухи о том, что Красная Армия пришла нас завоевать, нет — она пришла нас освободить...»

В дальнейшем участниками собрания вносились разнообразные предложения с дополнениями и изменениями предвыборной декларации, — забыт вопрос о заработной плате сельскому пролетариату, надо бы записать, что «крестьянин-труженик тот, кто нанимает не более 2 рабочих» и др. Однако Спуре был непреклонен — никакой ревизии текста декларации быть не должно, никакие добавления недопустимы. Документ **согласован**, и самодеятельность тут неуместна. Правда, тщательно утаиваемое представителями ЦК КПЛ и Коминтерна шило все же выглядывало из мешка: Аба Шперлин заявил на собрании, что лозунг «Присоединимся к Советскому Союзу» поднимать

* Имеются в виду национализация всей земли и создание совхозов правительством П. Стучки. — **Прим. ред.**

нельзя, так как в этом случае «даже левонастроенные и даже в организованном порядке могут бойкотировать выборы в Сейм».

Ход позднейших событий показал, что в оставшиеся несколько дней успели все же сорганизоваться и иные политические силы — отпечатать свою платформу и представить Центризбиркому свои списки. 8 июля жители Риги читали «Обращение демократических латышей». Эта предвыборная платформа отличалась, по существу, от документа Блока трудового народа только преамбулой — отсутствовала оценка деятельности предыдущего правительства.

«... Мы хотим сохранения свободной и независимой Латвии, мы не хотим ее утратить. Мы хотим тесного и постоянного сотрудничества с Советским Союзом и его народами. Мы хотим такого порядка, когда всем открыт доступ к образованию, когда всем даны все демократические свободы, работа и хлеб и каждому принадлежит то, что он заработал честным трудом. Поэтому мы идем на выборы в Сейм...»

1. Свободная, независимая, демократическая Латвия.

2. Тесное постоянное сотрудничество с СССР для достижения и дальнейшего развития целей пакта о взаимопомощи от 5 октября 1939 года.

3. Внутреннее строительство государства на началах прогресса и демократизма...

4. Расширение государственного земельного фонда для обеспечения крестьянства землей.

5. Развертывание и переустройство хозяйственной жизни страны с выдвиганием во главу угла интересов работающих...»

Утром 9 июля расклеенная по городу декларация была сорвана, авторы ее арестованы. Латышский зарубежный историк Э. Андерсонс в своем труде «Внешняя политика Латвии в 1920—1940 гг. Часть II» указывает, что репрессии коснулись около 500 человек.

В Центральную избирательную комиссию была подана и платформа группы избирателей — «беспартийных рыбаков, малоземельных крестьян, ремесленников, рабочих и среднего класса». Она поступила из Курземского избирательного округа

и защищала в основном интересы рыбаков.

Ситуация обострилась — ведь обе эти платформы отвечали всем требованиям инструкции. Надо было срочно найти официальный повод для отказа. Положение осложнялось еще и тем, что сам Вышинский был лично знаком — и, по свидетельству мемуаристов, даже находился в дружеских отношениях — с лидером платформы «Демократических латышей» А. Кениньшем. Выход был найден 9 июля на заседании ЦК КПЛ с участием двух представителей Коминтерна* — Сергеева и Владимировича. Ж. Спуре заявил, что А. Деглав «самочинно порвал представленные кандидатские списки». Следует тяжкое наказание — вычеркнуть А. Деглава из списка кандидатов Блока трудового народа Латвии и вместо него включить Фрициса Деклава, который, дабы не исправлять уже отпечатанные списки, отныне и навсегда становится Ф. Деглавом! «Провинившийся» А. Деглав был отозван также из Центризбиркома, его обязанности взял на себя К. Гайлис. Председатель Центризбиркома А. Бушевиц, тоже причастный к «разрыванию списков», отделался строгим выговором.

(Для широкой общественности Латвии имя А. Деглава ничего не значило. Иное дело А. Бушевиц — депутат сеймов Латвийской Республики всех созывов, лидер (в прошлом) фракции социал-демократов, видный юрист. Его личность привлекала народные симпатии, его имя внушало веру в демократические перемены. В своей прежней парламентской деятельности А. Бушевиц выступал против Улманиса и после установления авторитарного режима пострадал за свободу. В июне—июле 1940 года Вышинский смотрел сквозь пальцы на социал-демократическое прошлое этого человека — для вывески нужна была известная личность. Почему сам А. Бушевиц с такой легкостью со-

* О. Аугусте в своих воспоминаниях говорит о них как о «двух товарищах из ЦК ВКП(б), которые регулярно работали и давали советы». В 1940 году существенного отличия между позициями ЦК ВКП(б) и руководством Коминтерна уже не было — и те и другие верно служили сталинизму. — Прим. авт.

гласился встать на путь беззакония, остается загадкой.)

Руководству Центризбиркома было поручено исправить в инструкции те ошибки, «которые вредят нашей общей работе». Один из представителей Коминтерна (вместо фамилии в протоколе стоит многоточие) указал, что А. Бушевиц не понял главное — не ЦК КПЛ подчиняется Центризбиркому, а наоборот. И он, Бушевиц, должен беспрекословно выполнять все распоряжения ЦК.

На том же заседании 9 июля ЦК КПЛ рассмотрел «недопустимый поступок» секретаря Рижского комитета Трудовой молодежи П. Садовского, который на ответственном собрании выступил с обвинением против ЦК КПЛ, что ЦК КПЛ не выдвинул лозунг: «Да здравствует Советская Латвия!» ЦК КПЛ отверг этот лозунг.

А. Деглава между тем ждало еще более суровое наказание. В тот же день было рассмотрено его персональное дело. Итог — исключение из рядов КПЛ*.

Чтобы хоть как-то объяснить отсутствие альтернативных кандидатов в депутаты и репрессии против тех, кто пытался их выставить, 9 июля в массовой газете «Яунакас зиняс» (Последние известия) была помещена статья «Что надо особо иметь в виду избирателям». В ней говорилось: «На прежних выборах в Сейм мы привыкли голосовать по т. н. изменяемым спискам, вычеркивая выставленных в списках кандидатов или внося туда (кандидатов) из других списков. На этих выборах будут неизменяемые списки кандидатов... избиратели не имеют права ничего в этих списках вычеркивать или дописывать... Избиратели не должны искать т. н. «широко известных в обществе личностей», а (должны) дисциплинированно проголосовать за выставленные в предвыборной платформе Блока трудового народа Латвии требования без каких бы то ни было личных расчетов. Поэтому на выборах 14 и 15 июля всем следует опустить (в урну) неизменяемые и без вычерков списки кандидатов Блока трудового народа Латвии!»

10 июля, когда до выборов оставалось неполных четыре дня, кабинет министров утвердил замену представителя коммунистов А. Деглава на К. Гайлиса и министра юстиции А. Менгельсона — на сенатора Р. Алксниса.

Однако не только представители буржуазных течений возмущались, что смогут участвовать в выборах со своими списками кандидатов. В рядах КПЛ и ее сторонников тоже не было еще понимания, что всякая самодеятельность не только нежелательна, но и вовсе недопустима. Комитет революционных студентов Латгалии выдвинул по Латгальскому округу наряду с 7 официальными кандидатами, чьи фамилии значились в опубликованном списке, трех других кандидатов и еще двух запасных. Их, конечно, оставили без внимания. Однако латгальские студенты не смирились и попытались опротестовать шесть из семи официальных кандидатов, дав им краткую, но резкую характеристику:

«Котан Антон — врач, с дурной славой, притом айзсарг*».

Башко Петерис — инспектор народных школ Екабпилсского уезда, айзсарг и реакционер.

Шадурский Петерис — директор Латвийского ипотечного банка.

Струпович — директор торгового общества «Шкиедра».

Трубиньш Бронислав — ревизор Государственного контроля.

Пудан Виктор — включен (в список) лишь потому, что приходится свояком Ю. Паберзу. Владелец центра имени, лавочник и учитель.

Первые пятеро — члены того же, то есть студенческого, общества «Монтания», в котором состоят Латковский и Паберз».

И этот документ не возымел последствий. Любые изменения в опубликованный список Блока трудового народа могли вноситься только с согласия ЦК КПЛ и лишь в исключительных случаях. Коммунисты Московского района Риги уже 17 июля, то есть после выборов, отметили как неприемлемое то обстоятельство, что кандидаты Блока трудового на-

* После выборов, 15 августа, А. Деглава восстановили в КПЛ с подпольным стажем с 1928 г. — Прим. авт.

* Айзсарги — военизированная организация гражданских лиц, верных режиму, в данном случае — улманисовскому. — Прим. ред.

рода стали известны еще до общих собраний по выдвижению кандидатов. До людей с трудом доходила суть сталинской избирательной «демократии» — с восторгом принимать все, что ни продиктуют сверху.

К окончанию срока выдвижения кандидатов 10 июля в Центризбирком вместо пяти положенных списков (по одному на каждый избирательный округ) было представлено 17. За два дня до выборов, 12 июля, Центризбирком направил всем «лишним» отказы — одинаковые по форме и существу. Основание для отказа — не опубликована и не доведена до сведения широкой общественности избирательная платформа. Здесь, правда, надо отметить, что подобное требование было выдвинуто Центризбиркомом лишь 8 июля, когда уже началась регистрация кандидатов в депутаты. Группе А. Кениньша удалось выполнить это требование в течение суток, именно поэтому просто послать им отказ было невозможно.

11 июля оба представителя Коминтерна получили специальные удостоверения, дававшие право «проверять и ознакомливаться с работой областных и районных комитетов партии и ходом избирательной кампании». 14 июля им было разрешено «посещать избирательные участки и подучастки с целью (сбора) информации». Это противоречило избирательному закону и даже порядку, определенному Центризбиркомом.

Для проведения необходимой разъяснительной работы был образован центральный комитет Блока трудового народа Латвии: от КПЛ — Ж. Спуре, Я. Калнберзин и В. Вадимов (Коминтерн), от железной дороги — Л. Кажемак, от профсоюзов — Р. Лапиньш, от Трудовой молодежи — П. Курлис (арестован как провокатор во время работы Сейма, причем не испрашивая у Сейма согласия на арест депутата), от Латгалии — В. Латковский, от учителей — Я. Янсонс и А. Шершунов, от женщин — Л. Яблонская, от сельчан — Я. Ванэг.

Мы детально проанализировали протоколы заседаний партийных комитетов районов. Видно, что коммунисты вели предвыборную пропаганду довольно слабо. Это неуди-

вительно, если учитывать малочисленность КПЛ в ту пору. Впрочем, этот недостаток восполнялся большой активностью политработников Красной Армии. Так, 7 июля партком Пролетарского района Риги заслушал доклад комиссара Большеха о целях и задачах коммунистической партии. Там же т. Иванов* сообщил, что все прикомандированные комиссары Красной Армии активно участвуют в работе районной организации. И 17 июля райкому оставалось только поблагодарить их за «большую поддержку во время выборной акции».

В черед событий настало утро 14 июля — начало выборов в Сейм. Орган ЦК КПЛ газета «Циня» (Борьба) поместила на первой полосе призыв ЦК КПЛ «Избиратель, имей в виду!» Сталинистскими методами дышала каждая строчка. Взять, к примеру, такое указание: «Позаботься о том, чтобы и члены твоей семьи, знакомые и соседи приняли участие в выборах. Если они сомневаются или колеблются, убеди и подбодри их. Проверь, выполнили они свой гражданский долг или нет... В урну следует опускать только список кандидатов Блока трудового народа Латвии, полученный в день выборов на избирательном участке...»

Несмотря на все суматошные усилия, первый день выборов не принес желаемых результатов. 14 июля состоялось заседание парткома Московского района Риги, на котором был утвержден порядок голосования рабочих промышленных предприятий: «Рабочие 4 фабрик будут построены и организовано придут в 8.30... Все они будут голосовать в 20-м участке. «Кузнецов»** голосует в 9 часов утра. «Ливония» выстроится за кузнецовцами. Костяной завод организует сбор в 9 ч. 30 мин...»

Утром 15 июля газета «Яунакас зиняс» опубликовала циркуляр отдела пропаганды министерства общественных дел: «Все, все, все, кто еще не выполнил свой долг по выборам в Сейм 1940 года, должны сделать это незамедлительно. Сегодня последний день выборов, поэтому поторопи-

* В протоколе личность этого человека не расшифрована. — Прим. авт.

** Имеется в виду фарфорофанское предприятие С. Кузнецова. — Прим. ред.

тес, чтобы впоследствии тем, кто сейчас сомневается, голосовать или нет, не было стыдно перед собой, своими товарищами по работе, согражданами, всеми патриотами Латвии и своими личными документами, в которых будет отсутствовать штамп об участии в выборах в Сейм в этом году!» В этом сообщении — ключ к тому, почему люди так боялись отсутствия штампа в паспорте. Газетное предупреждение звучало весьма недвусмысленно.

Точно так же, как в поразительно рекордные сроки были организованы сами выборы, в потрясающем темпе были опубликованы и их результаты.

Уже 16 июля кабинет министров на своем заседании принимает решение известить избранных депутатов Сейма о том, что 17 июля им надлежит прибыть в Ригу. Вместе с тем А. Бушевицу и К. Гайлису вменялось в обязанность уже 17 июля утвердить результаты выборов. Однако сами материалы голосования поступили в распоряжение Центризбиркома только 17 июля после обеда: в 16.25 — три запечатанных пакета из Видземе, в 17.00 — один незапечатанный пакет и один незапечатанный ящик из Латгале, в 18.00 — два незапечатанных ящика из Видземе. Материалы выборов по округам, в сущности, никого больше в Риге не интересовали, Центризбирком утвердил результаты без проверки бюллетеней.

Единственной помехой формальной деятельности Центризбиркома были заявления с просьбой о проставлении штампа в паспорте от тех латвийских граждан, которые почему-либо не получили этой отметки. 20 июля пришло письмо от команды парохода «Сауле», которая находилась в рейсе, не могла участвовать в выборах и поэтому просила «дать нам возможность выполнить наш гражданский долг, чтобы мы не по своей вине не очутились в стане врагов». Писали также люди, которые проголосовали, но забыли получить штамп, писали проживавшие в Литве граждане Латвии (голосовать можно было только в своем государстве) и др. Обычно эти просьбы отклонялись.

Итак, кто же был избран в парламент в июле 1940 года? Из 100 депутатов 67 были членами КПЛ (которая, как мы помним, насчитывала менее 1000 человек). Как уже гово-

рилось, в ходе работы Сейма был арестован депутат П. Курлис — руководитель молодежной организации партии, член ЦК КПЛ, близкий Я. Калнберзину и Ж. Спуре человек, оказавшийся информатором политуправления Латвийской Республики.

Среди депутатов был известный лидер социал-демократов А. Бушевиц. Член ЦК ЛСДРП в 1904—1906 годах, член Рижского Федеративного комитета в 1905 году, делегат IV и V съездов РСДРП. В 1916 году немецкие оккупационные власти арестовали его за принадлежность к «враждебно настроенным по отношению к немцам». В 1918—1919 годах он был членом Народного совета, провозгласившего независимость Латвии. В 20-е годы был депутатом Сейма, занимал пост министра финансов. С 1934 года — один из лидеров нелегальной Социалистической рабоче-крестьянской партии Латвии. В марте 1940 года арестован улманисовским режимом. В июле 1940 года вступил в КПЛ.

Был избран в Сейм и Гаральд Лукин — врач, учившийся в свое время в Латвийском университете, совершенствовавшийся в клиниках Цюриха, Женевы, Дрездена и Хельсинки, активист Общества Рериха (секретарь Музея Рериха). Его отец, Август Лукин, был одним из основателей этого общества. Гаральда репрессировали после второй мировой войны.

Получил депутатский мандат и генерал Р. Дамбитис — участник первой мировой, кавалер орденов св. Станислава, Анны и Владимира. В 1919 году он активно сражался против осаждавшей Ригу армии авантюриста и германского ставленника П. Бермонта-Авалова. В годы Латвийской Республики награжден высшими военными отличиями — орденом Лачплесиса, орденом Трех Звезд. В 1939 году вышел на пенсию, 21 июня 1940 года был назначен военным министром. Во время Великой Отечественной войны оставался в Латвии, был узником концлагеря Заксенхаузен.

Наряду с этими людьми в Сейме заседал П. Плесум — человек, охранявший в 1918 году правительство Ленина, кавалер ордена Красного Знамени. До 1931 года жил и работал в Советском Союзе. В 1932 году был арестован на территории

Латвии и судим за антигосударственную деятельность. По отбытии наказания в 1938 году СССР не принял его как своего гражданина, поэтому П. Плесум оставался в заточении. Латвийского гражданства никогда официально не получал.

Депутатский мандат был вручен и О. Аугусте, которая эвакуировалась из Латвии в годы первой мировой войны и вернулась в нее в 30-е годы как работник нелегального ЦК нелегальной КПЛ. Гражданка СССР, которой были чужды любые законодательные нормы правового государства . . .

В четверг, 18 июля, районные комитеты КПЛ вновь вывели трудящихся на улицы Риги — на очередную демонстрацию (еще в июне кабинет министров постановил выплачивать участникам демонстраций дневную заработную плату в полном размере). От правительства к собравшимся обратился президент министров А. Кирхенштейн. Свое обращение он закончил словами: «Да здравствует дружественный нам Советский Союз, его государственные деятели и могучая Красная Армия!» Но уже А. Я. Вышинский выступал без околочностей и впервые приподнял завесу над будущим: «Вперед! К новой, радостной и счастливой жизни в тесном, нерушимом и вечном союзе с вашим другом великим Союзом Советских Социалистических Республик!» Посол СССР в Латвии В. Деревянский несколько иначе истолковал итоги выборов в Сейм: «Стоявшие на пути сближения наших стран преграды, воздвигнутые предыдущим плутократическим правительством,* теперь больше не существуют. Они уничтожены отныне и навсегда. Теперь нет и не может быть таких сил, которые смогли бы воспрепятствовать самому сердечному и дружественному желанию народов Латвии и СССР установить между собой самые тесные отношения».

Еще 5 июля во время демонстрации представитель КПЛ Я. Путный заявил, что присоединения Латвии к СССР требуют «наши враги», а 18 июля он же потребовал, чтобы «избранные нами депутаты организовали советскую Латвию и чтобы она в ка-

честве 14-й республики была присоединена к Союзу Советских Социалистических Республик!» Предвыборная декларация была предана забвению.

19 июля объявили, что Сейм соберется 21-го. Повестка дня опубликована не была.

21 июля первое заседание Сейма открыл старейший депутат, 72-летний крестьянин из Елгавской волости Д. Крузе. Министр иностранных дел и депутат А. Яблонский вспоминает этот эпизод следующим образом: «Открытие заседания вышло довольно неуклюжим . . . Хотя речь была написана, он (Д. Крузе) с трудом ее зачитывал, и создавалось впечатление, что это весьма духовно ограниченный человек». Там же автор характеризует и председателя Сейма П. Бриедиса — тот был в крайнем смятении, долго шарил по карманам в поисках карандаша и бумаги, запинаясь.

В ложе для зарубежных гостей находились представители посольств СССР, Франции, Японии, Германии и др. По первому пункту повестки дня — о государственной власти — слово было предоставлено секретарю ЦК КПЛ Ж. Спуре. Вполне логично — он докладывал в ЦК о московском решении организовать кампанию по выборам в Сейм, он извещал об этом рижских коммунистов, он в течение всех 10 дней (5—15 июля) в принципе следил за тем, чтобы правила игры нигде не нарушались. Сегодня это звучит странно, но тогда Ж. Спуре полагал, что он вправе говорить от имени Сейма: «. . . выполняя волю всего трудового народа Латвии, Сейм провозглашает установление Советской власти на всей территории Латвии!» «Собравшиеся встали и долго не смолкающей овацией и криками «ура!» приветствовали руководителей Советского Союза, Красную Армию и Советскую Латвию», — говорится далее в газетном отчете*. Представители

* К. Улманис по-прежнему оставался президентом и формально возглавлял Республику. — Прим. авт.

* Материалы заседания Сейма, опубликованные в печати, — основной источник для историка. Оригинал стенограммы в латвийских архивах не найден. Одно из двух: или стенограмма вообще не велась, или же с архивом министерства иностранных дел вывезена в Советский Союз. — Прим. авт.

всех зарубежных посольств, кроме СССР, покинули Национальный театр, где проходило заседание. До сих пор неясно, кто заполнял зрительный зал во время работы Сейма, кто устраивал овации и провозглашал здравицы. Ведь сто депутатов занимали первые четыре ряда кресел, и то не целиком. Список приглашенных пока не обнаружен.

После речи Ж. Спуре со столь эффектной концовкой декларация об установлении Латвийской ССР и обращение с просьбой о вхождении в СССР были уже чистой формальностью.

Такое же единодушие царило при принятии решений о национализации земли, банков и промышленных предприятий. Дискуссии, бушевавшие когда-то в Сейме Латвийской Республики, были явным анахронизмом. В 1920 году, например, закон об аграрной реформе обсуждался более месяца, в 1940 году для отмены этой реформы хватило двух-трех часов.

В последний день работы Сейма была избрана делегация парламента из 20 человек для поездки в Москву с ходатайством о принятии Латвии в состав СССР: А. Кирхенштейн, Ж. Спуре, Р. Дамбитис, В. Лацис, Ю. Лацис, Р. Клявиньш, О. Крастиньш, А. Бушевиц, Я. Калнберзин, П. Блаус, Т. Биргеле, Л. Кажемак, С. Симанович, Я. Салнис, Д. Крузе, Г. Ильин, П. Галениекс, Я. Ванаг, А. Упит и П. Бриедис. Однако 30 июля никто из

секретарей ЦК КПЛ, включенных в состав делегации (Я. Калнберзин, Ж. Спуре), в поезд не сел, не было там и командующего армией Р. Клявиньша, министра внутренних дел В. Лациса, председателя Сейма П. Бриедиса. Всего, по согласованию с советским посольством, в делегации были заменены 7 человек. Я. Калнберзин, зная, что в 1937 году в Москве была арестована вся его семья и что в 1938 году его тоже хотели отозвать из Латвии в СССР, не горел желанием ехать в советскую столицу.

На заседаниях Верховного Совета СССР был разыгран своеобразный спектакль под названием «национальная демократия». Все делегаты Латвии выступали по-латышски, и сами же члены делегации переводили эти речи на русский язык. Выпускника Тартуского университета, активно сотрудничавшего с советскими культурными учреждениями и, разумеется, хорошо говорившего по-русски А. Кирхенштейна переводил П. Блаус. Речь П. Плесума — офицера царской армии, командира красных стрелков, прибывшего в Латвию из СССР в 1931 году, зачитывал Г. Ильин. Еву Палдынь, которая свыше десяти лет прожила в России, а в Латвию приехала в 1932 году как нелегалка, переводил П. Дергач, а выпускника Петербургского университета Ю. Паберза — С. Симанович. Сплошной фарс...

Так организовывалось «свободное волеизъявление» латышского народа.

ЕСЛИ БЫ ПОБЕДИЛ ТРОЦКИЙ...

«НЕ БЫЛО НИКАКИХ ТВЕРДОКАМЕННЫХ!»

Нравственный анализ послеоктябрьской истории в нашей публицистике чаще всего начинается с разоблачения моральных недугов Сталина как узурпатора власти и преступника и этим же разоблачением заканчивается. Территория советской истории, на которой действует власть библейского «не убий», снизу чаще всего ограничена 1929 годом. Сложилась довольно бойкая группа авторов, которая ревностно следит за тем, чтобы не нарушались правила игры, чтобы, упаси Бог, никто не отождествил сталинский террор с красным, не начал всерьез думать о ложности террора как способа осчастливить человечество, о цене социализма, исторической инициативы большевиков.

К примеру, утверждает О. Лацис, одно дело красный террор как проявление революционного насилия, а другое — сталинское насилие, которое «не было прямым и непосредственным продолжением революционного насилия»¹. Даже если в период гражданской войны, пишет этот автор, теоретически мыслимая мера террора в жизни оказалась в тысячу раз выше, то все же он как метод устрашения был необходим и неизбежен.

Конечно, существуют и объективные причины, толкающие нас к мысли, что корень всех наших бед в моральных недугах Сталина. Многие пишущие на эту тему до сих пор не могут устоять перед простым и, на первый взгляд, очевидным объяснением причин сталинщины. Раз террор прекратился в 1953 году после смерти Сталина, то, следовательно, его причины и следует искать в этой страшной, уродливой личности. Как не раз уже

бывало в истории, в этом случае внешнее, очевидное заслонило внутреннюю, подлинную причину назревшего переворота в нашей жизни.

По-видимому, тем, кому смерть Сталина принесла освобождение от страха и надежду, теперь очень трудно разорвать в своем сознании два факта: кончину Вождя и конец развязанного им террора. Так, Г. Померанц в своем редком по пронзительной духовной чистоте эссе «Мамин вопрос», вопреки своему исходному убеждению, что все революционеры, согласившиеся на вседозволенность во имя достижения великой цели, по сути одним миром мазаны, вдруг срывается на традиционный пафос «разоблачения» и с присущей ему страстностью начинает доказывать, что большего подонка, чем Сталин, в русском революционном движении не было и на фоне такой грязной и омерзительной личности, как подпольщик Коба, все троцкисты выглядят светлыми. «Как все провокаторы, — пишет автор, — Сталин умел быть и в потоке революционных идей и дел, и как бы со стороны, на берегу. Он владел языком революции, не веря ни во что, и пользовался то одной, то другой идеей, смотря, что выгоднее. Он видел своих товарищей с изнанки, со стороны их слабостей и ловко сставлял Зиновьева с Троцким, Каменева с Рыковым. Он организовал убийство Кирова и расстреливал за это остальных своих соперников. Какой Азеф, какой Малиновский мог сделать больше? Сталин был величайший провокатор всех времен и народов. У него нет соперников»¹.

Несколько неожиданно для читателя увлекся персонализацией сталинщины и публицист И. Клямкин, заявивший прежде в своей статье «Ка-

¹ См.: Лацис Отто. Термидор считать брюмером... — «Знамя», 1989, № 5, с. 193.

¹ Померанц Г. Мамин вопрос. — «Век XX и мир» 1989, № 3, с. 24.

кая дорога ведет к храму?» («Новый мир», 1987, № 11) о своей вере в неотвратимость пережитой Россией «мясорубки» как закономерного исхода всей ее истории с петровских времен, о том, что Сталин был «сильнейшим». В новой работе «Почему трудно говорить правду» он изменил своему фаталистическому кредо и попытался показать роковую роль случайностей, которые, по его мнению, помогли теперь уже не «сильнейшему», а самому лживому. Многого можно было избежать, полагает И. Клямкин, если бы старая гвардия, ленинцы не изменили своим нравственным принципам, не стали на путь лжи во имя спасения и тем самым якобы не помогли негодяю. «Меня интересует, — пишет автор, — почему эти нелепые случайности в наших условиях привели к такой катастрофе, к какой политический обман не приводил даже там, где его никто не считал предосудительным»¹.

По мнению И. Клямкина, все произошедшее с нами является случайным, ибо те, кто проиграл Сталину, могли и устоять перед ложью, ведь они по сути своей были слугами правды, были, в отличие Сталина, цельными, нравственными личностями. «Убежден, — настаивает И. Клямкин, — едва ли не все они были и оставались служителями и подвижниками идеи и по своему духовному и нравственному развитию принадлежали к другой, чем Сталин, категории людей. У него источник лжи находился внутри. У таких деятелей той поры, как Каменев, Бухарин или Рыков, она вырабатывалась и постоянно подпитывалась ложностью и двусмысленностью положения, в котором после окончания гражданской войны оказалась старая партийная гвардия»².

Речь, по сути, идет о том же — ленинская гвардия в целом с нравственной точки зрения безупречна.

Я тоже убежден, что случилось худшее, что страшнее и нелепее развязки наших русских проблем и противоречий, чем сталинская, придумать было невозможно. Верно и то,

что «на верхах» злее, циничнее, коварнее, подлее, чем Сталин, человека просто не существовало. По критериям личной порядочности Сталин действительно уступал большинству представителей ленинской гвардии. Да и то верно, что такие конкуренты Сталина в борьбе за лидерство в партии, как, к примеру, Троцкий, Зиновьев, Каменев, вряд ли могли подозреваться в провокаторстве.

Я тоже склоняюсь к мнению, что, окажись на месте Сталина любой другой соратник Ленина, вождь Октября, мы бы пришли к концу XX века с меньшими потерями, сумели бы сделать нашу российскую жизнь более достойной, более привлекательной, уважаемой другими народами. Действительно, случилось худшее. Даже «расстрельщик», «зажимщик» Л. Д. Троцкий, сумей он еще в 1924 году убедить Зиновьева, Каменева в грозящей партии опасности, привлечь на свою сторону этих близких ему по мировоззрению, по марксистской ортодоксальности людей, не ломал бы столько дров, не разрушил бы так основательно основы российской жизни, как «националист» и «русский шовинист» И. Сталин.

Троцкий несомненно, как и Сталин, свернул бы голову нэпу и прибегнул к насильственной коллективизации. Троцкий несомненно и в силу своего характера, и в силу ортодоксальной трактовки марксизма ввел бы в стране военную организацию производства. Я лично не могу найти в работах троцкистов, и прежде всего в трудах Л. Д. Троцкого и Е. А. Преображенского, подтверждение тому, что они якобы настаивали на различии между огосударствлением производства и его реальным обобществлением, что они, как пишет Г. Померанц, были противниками социализма по принуждению¹.

¹ Клямкин И. Почему трудно говорить правду. — «Новый мир», 1989, № 2, с. 205.

² Там же, с. 211.

¹ «... Сталин со своей железной логикой, — пишет Г. Померанц, — сознательно вынес все... человеческое, сердечное за скобки, сразу лишив аргументов своих противников, несогласных с его планом строительства социализма в одной, отдельно взятой стране... Основа социализма — общественная собственность. Троцкисты это хорошо усвоили. Но они не соглашались, что государственная собственность есть общественная собственность и к этому все сводится. Социализм с армией, полицией, развед-

Но все же у нас есть основание верить, что такие образованные, понимающие толк в экономике троцкисты, как Е. А. Преображенский, воплотили бы идею тотального централизованного контроля над производством, идею вытеснения рынка и закона стоимости¹ с меньшими материальными и человеческими потерями. В конце концов, даже если исходная идея утопична, то умный человек проведет ее в жизнь с меньшими потерями, чем самодовольный дурак.

Правда, я не думаю, что Троцкий, завоевав он власть под флагом демократизации внутрипартийной жизни и борьбы с партийной бюрократией, позволил бы себя сместить демократическим путем. Это предположение, как мне кажется, из области фантазии.

Сама по себе альтернатива: или понимать необходимость демократии, защищать права отдельного коммуниста, или быть близким к народу, к партии, альтернатива, к которой апеллирует Г. Померанц, — на мой взгляд, носит искусственный характер. Из того факта, что Троцкий, по

кой и контрразведкой, с тюрьмами и лагерями казался им издевательством над здравым смыслом, сапогами всмятку. Еретики сомневались не в возможности индустриализации, а совершенно в другом. Пожалуй, они и не сомневались, а были совершенно уверены, что общество с тиранами — не социализм. Бесклассовое общество — значит, конец классовой борьбе. В классовом обществе можно завинчивать и завинчивать гайки. Но еретики не считали такое общество социалистическим. О социализме у них были романтические представления». (Померанц Г. Мамин вопрос. — «Век XX и мир», 1989, № 3, с. 20).

¹ Вопреки тому, что пишет Г. Померанц, Е. А. Преображенский, главный теоретик троцкизма, был не только приверженцем жесткой трактовки классового подхода, но и ярким сторонником тотального государственного контроля над производством. «Социализм, — к примеру, писал он, — побеждает в сомкнутом строю государственного хозяйства, выступающего как единое целое, амальгамированного с политической властью, в условиях систематического ограничения и почти ликвидации свободной конкуренции» (Преображенский Е. А. Основной закон социалистического положения. — «Вестник Коммунистической академии», 1924, кн. 8, с. 100).

словам Г. Померанца (и это соответствует действительности), «недостаточно чувствовал деревню и смотрел на нее только как на резерв, на материал для строительства социализма», никак не следует, что он превыше всего ставил ценности демократии и был готов в любых условиях им подчиниться. Глубоко убежден, и это легко доказать, что революционер, неспособный увидеть в крестьянине-труженике, в мужике, человека равного себе по своим политическим и духовным достоинствам, не может называться демократом. Для оценки мировоззрения, которое двигало поступками Троцкого, всех левых вождей нашей революции, понятие «демократия» не годится. Нелепо считать демократами, борцами за равенство тех политических деятелей, которые 85% населения страны принимают за людей второго сорта, которые искренне верят в то, что история наделила их, борцов, правом решать по своему «теоретическому» усмотрению судьбы миллионов. Революционеры, которые смотрят на деревню как на навоз истории, как на материал для строительства социализма, которые без тени сомнения решают судьбы миллионов, не спрашивая их ни о чем, не считаясь с их интересами и чаяниями, с еще большей легкостью в случае необходимости (тем более «исторической») пожертвуют правами и интересами отдельных членов партии.

Я, повторяю, готов согласиться с тем, что Троцкий, в отличие от Сталина, мог лучше распорядиться этим русским крестьянством, обреченным на то, чтобы стать материалом для строительства социализма. Он, в отличие от вождя всех народов, обладал здравым смыслом, вкусом к технологии воплощения политических решений. Но все же мне трудно поверить в то, что Троцкий, заняв место верховного вождя партии, добровольно отказался бы от него, когда бы этого потребовали принципы демократии. Сам Г. Померанц пишет, что большевики были партией, стремившейся иметь беспорочного вождя. Из чего следует, что само психологическое устройство этой партии препятствовало частой смене лидеров. Генеральный секретарь, могущий в каждую минуту утратить власть, никогда не будет восприниматься как бес-

спорный вожь, ведущий страну, все человечество к великой исторической цели.

Вспомните Троцкого — героя Октября!

Вспомните Троцкого, сжигавшего осенью 1917 года во имя удержания власти пролетариата все осты для возвращения России назад, к парламентской демократии.

Вспомните, с каким блеском и решительностью он отбил на II съезде Советов, уже днем 25 октября, наскоки меньшевика Мартова на свершившийся переворот¹. «Восстание народных масс, — чеканил Троцкий, — не нуждается в оправдании. То, что произошло, это восстание, а не заговор. Мы закаляли революционную энергию петербургских рабочих и солдат. Мы открыто ковали волю масс на восстание, а не на заговор... Народные массы шли под нашим знаменем, и наше восстание победило. И теперь нам предлагают — откажись от своей победы, идите на уступки, заключите соглашения. С кем? Я спрашиваю: с кем мы должны заключить соглашение? С теми жалкими кучками, которые ушли отсюда или которые делают это предложение? Но ведь мы видели их целиком. Больше за ними нет никого в России. С ними должны заключить соглашение как равноправные стороны миллионы рабочих и крестьян, представленных на этом съезде, которых они не первый и не в последний раз готовы променять на милость буржуазии? Нет, тут соглашение не годится. Тем, кто отсюда ушел и кто выступает с предложениями, мы должны сказать: вы — жалкие единицы, вы — банкроты, ваша роль сыграна и отправляйтесь туда, где вам отныне надлежит быть: в сорную корзину истории...»².

Я думаю, что если бы случилось то, что не случилось, и Л. Д. Троцкий заменил Ленина на посту верховного

вождя большевистской партии, он защитил бы свои, как он считал (и не без основания), естественные права на лидерство с еще большим блеском и решительностью.

Впрочем, как мне думается, Г. Померанц выбрал не самый удачный персонаж для иллюстрации своей мысли о возможности другого исхода событий, другой развязки нашей исторической драмы. Перечитывая статьи и выступления Н. И. Бухарина середины—конца двадцатых годов, впадаешь в досаду. Все, что он говорит, так разумно, так практично. Ведь, честно говоря, среди оставшихся вождей Октября только он один прозрел (Троцкий и Зиновьев так и умерли слепыми догматиками, на слово поверившими Марксу во всем), увидел утопичность и иллюзорность догматических надежд добиться высокой производительности труда без конкуренции и без личной заинтересованности производителя в лучших результатах труда¹.

Если бы у него, у Рыкова, у Томского хватило бы решительности, политической гибкости! Если бы революция научила их тому, чему научился в свое время подпольщик-экспроприатор Сталин! Тогда бы намеченный умирающим Лениным сдвиг нашей

¹ В своем докладе «О новой экономической политике и наших задачах» на собрании актива Московской организации 17 октября 1925 года Н. И. Бухарин, в сущности, признал справедливой критику со стороны буржуазных экономистов нерыночного, так называемого «деструктивного», разрушительного социализма. «... Так называемый «деструктивный» социализм коммунистов, — говорил вслед за австрийским профессором Мизесом Н. И. Бухарин, — ведет не к развитию производительных сил, а к их падению. Это происходит прежде всего потому, — развивал он свои доводы, — что коммунисты забывают о крупнейшей роли частноиндивидуалистического стимула, частной инициативы. Капитализм страдает пороками — это верно. Но капиталистическая конкуренция ведет к развитию производительных сил, которые гонятся капиталистическим развитием вперед, и в результате роста производительных сил общества больше приходится и на долю рабочего класса. Поскольку коммунисты хотят установить производство по приказу, из-под палки, постольку их политика потерпит и уже терпит неминуемый крах» (Бухарин Н. И. Избранные произведения. Политиздат, 1988, с. 127).

¹ Речь идет о предложении Мартова II съезду Советов принять постановление о необходимости мирного разрешения кризиса путем образования общедемократического правительства и избрать делегацию для переговоров со всеми социалистическими партиями.

² Цит. по книге Ник. Суханова «Записки о революции». Книга седьмая. Берлин — Петербург — Москва, 1923, с. 203.

революции в сторону реализма социал-демократии мог бы удался. Тогда бы нам не пришлось проделать длинный, растянувшийся на семь десятилетий путь от утопии военного коммунизма к здравому смыслу. Если бы!

Но тем не менее мне трудно согласиться с тем, что худшее случилось лишь потому, что победил подлейший, самый лживый: мол, Сталин в отличие от других вождей Октября не был романтиком, слово «социализм» не сохраняло для него сердечный смысл, он не был «служителем и подвижником идеи».

Мой внутренний голос не позволяет мне разделить мнение, что подвижническая верность усвоенной когда-то идее является признаком духовно развитой личности, ее высоких нравственных качеств. Глубоко убежден, что понятия «служитель и подвижник идеи» и «нравственный человек» не являются синонимами.

Чем больше я изучаю историю партии, историю гражданской войны, историю сталинской эпохи, чем больше читаю статьи на эту тему, тем труднее мне поверить в то, что Сталин принадлежал к какой-то особой категории революционеров, качественно отличающейся от людей, которых мы сейчас объединяем понятием «ленинская гвардия» или «старая партийная гвардия». Все факты говорят о том, что все они, сумевшие «не расслабиться», одолеть душой все трагические последствия воплощения в жизнь избранной ими тактики «перерастания империалистической войны в гражданскую», были на одно лицо, одним лыком шиты, одним миром мазаны. Все они, активные участники и организаторы вооруженного восстания в ночь с 24 на 25 октября, все они, не побоявшиеся взять в руки власть, которая действительно валялась под ногами, несли один тяжкий крест личной, персональной ответственности за совершенный ими переворот в русской и, как оказалось потом, в мировой истории. И несут в равной степени ответственность за то, что случилось в стране, причастны в равной степени и к тому, что нам удалось, и к тому, что нам не удалось.

Этого не понимают новые монополисты истолкования истории Октября, верящие, что та часть старой

партийной гвардии, которая им симпатична и которая приехала в опломбированном вагоне с Запада вершить революцию, усвоила европейские манеры, умела носить котелок и пенсне, чем-то существенно отличалась от той части старой партийной гвардии, что встретила Февральскую революцию в России, огрубела душой и манерами в ссылках, в Сибири. Разве (назовем их «домовики») Сталин, Ярославский, Молотов, Ворошилов, Свердлов с меньшим размахом уничтожали «ситцевую», «старую», «крестьянскую» Россию, чем реэмигранты?

В отличие от нас и «реэмигранты» и «домовики», решившиеся на Октябрь, понимали, особенно когда уже началась гражданская война, что у них одна судьба и одна ответственность, что назад, в прошлое им дороги нет, а потому, чтобы не случилось с ними худшее, чего они боялись как все живые люди¹, должны были наступать до конца на прошлое, на старую Россию, дальше и дальше выкорчевывать с помощью динамита социальную и экономическую почву возможной реставрации старых порядков, все то, что им, простым смертным, угрожало опасностью, расправой.

Почему мы не хотим считаться с тем, что «твердокаменные», как показал 1937 год, за редким исключением (Томский, Пятаков), отнюдь не были твердокаменными, что страх их посещал не реже, чем остальных смертных. Не ползали бы Зиновьев и Каменев на коленях, прося пощады

¹ Как известно, отличающийся своей романтической левизной, непримиримостью к крестьянину-собственнику, Г. Зиновьев был человеком слабой воли, просто трусом. «Центром растерянности, — вспоминал об обороне Петрограда в октябре 1919 года Л. Троцкий, — был Зиновьев. Свердлов говорил мне: «Зиновьев — это паника». А Свердлов знал людей. И действительно: в благоприятные периоды, когда, по выражению Ленина, «ничего было бояться», Зиновьев очень легко взбирался на седьмое небо. Когда же дела шли плохо, Зиновьев ложился на диван, не в метафорическом, а в подлинном смысле, и вздыхал. Начиная с семнадцатого года я мог убедиться, что средних настроений Зиновьев не знал: либо седьмое небо, либо диван» (Л. Троцкий. Моя жизнь. Опыт автобиографии. Ч. II., Изд-во «Гранит», Берлин, 1930, с. 158).

перед расстрелом, если бы они действительно были железными людьми, сумевшими подняться выше слабостей простых смертных.

Не было никаких твердокаменных! Все это миф, созданный поклонниками их политического авантюризма, нынешними подвижниками идеи революционного обновления мира. Она, ленинская гвардия, могла быть твердокаменной только в условиях правового государства, каким и была предреволюционная Россия. Когда, не боясь за свою жизнь, можно было провоцировать «драку», физическое столкновение с властью. Когда уважали их права как политических ссыльных. Но, столкнувшись лицом к лицу со своим же детищем, с государством диктатуры пролетариата, с карающим мечом их же революции, они сразу превратились в мягкотелых хлюпиков, готовых на все, лишь бы сохранить себе жизнь, а если не удастся, то хотя бы своим женам и детям. Тридцать седьмой год показал, что у этих людей, за редким исключением, не было никаких принципов. Тридцать седьмой год показал, что некоторые из них, к примеру Карл Радек, в провокаторстве могли поспорить даже с гениальным Азефом. Только Карл Радек мог придумать такое: оказавшись в застенках НКВД, не только предал самого себя, своих единомышленников, но и стал соавтором Сталина, помогая ему в организации антитроцкистского процесса, сделавшись главным консультантом Ежова в совершении легенды о заговоре. Поистине урод с уродливой душой. «Не годясь по своему характеру в настоящие заговорщики, — это мнение чекиста Александра Орлова, — Радек вместе с тем, как никто другой, подходил для того, чтобы разыграть роль заговорщика в сталинской судебной кампании. Для такой роли он обладал поистине блестящими данными. Природный демагог, он считал и правду и ложь одинаково приемлемыми средствами для достижения своих целей. Софистика и риторика были его стихией, и в прошлом он нередко — в тех случаях, когда требовалось партии, — с ловкостью настоящего фокусника умел доказать, что белое — это черное, а черное — белое. Пообещав Сталину лгать на суде «для блага партии», а фактически для спа-

сения собственной кожи, Радек бросился исполнять порученное задание с прутьем хорошего спортсмена. Стремление первенствовать во всем было одной из его характернейших черт. Теперь он хотел быть первым и здесь. Даже в весьма жалкой роли подсудимого, играющего разоблаченного убийцу и шпиона, он усмотрел свой «шанс» — возможность интеллектуального состязания с другими подсудимыми и даже с прокурором»¹.

Эти люди, спокойно приговорившие к смерти целую страну, целые классы, сословия, были самыми последними трусами. Легко капитулировал не только урод Радек, но и красавец, умнейшая голова Георгий Сокольников. Эти люди, взявшиеся переделывать природу человека, преодолеть в мире зло, были носителями самого чудовищного цинизма и эгоизма. Они были жестокими от страха.

Как мы теперь знаем, тот же животный страх руководил многие годы и Сталиным.

А может быть, мотивы поражающей нас настырной, фанатичной левизны старой гвардии, стремившейся в кратчайшие сроки переделать в муку классы и уклады старой России, были намного банальнее? Может быть, дело отнюдь не в их догматизме, не в их святой вере в Маркса, писавшего о будущем неклассовом, нерыночном и нетоварном социализме, а просто в страхе за себя? Может, отнюдь не заботой о чистоте марксизма и социализма было продиктовано выступление Г. Зиновьева и Л. Каменева на XIV съезде ВКП(б) против, как им казалось, опрометчивого экономизма Бухарина, который, якобы не ведая, что творит, начал звать партию к восстановлению зажиточного, самостоятельного мужика?² Может, они просто боялись? Мо-

¹ Орлов Александр. Тайная история сталинских преступлений. — «Огонек», 1989, № 48, с. 24.

² «В общем и целом, — говорил в 1925 году Н. И. Бухарин, — всему крестьянству, всем его слоям нужно сказать: обогатитесь, накапливайте, развивайте свое хозяйство. Только идиоты могут говорить, что у нас всегда должна быть беднота; мы должны теперь вести такую политику, в результате которой у нас беднота исчезла бы» (Бухарин Н. И. Избранные произведения. Политиздат, 1988, с. 136).

жет быть, оттуда, из глубин подсознания ими, как марионетками, двигал страх?

Никто, конечно, уже не выяснит, что на самом деле двигало лидерами левых оппозиций, а потом теми осколками старой гвардии, которые объединились вокруг Сталина в «святом» деле перемалывания старой России, что побуждало этих, по старым меркам, необразованных людей поощрять уничтожение храмов, способствовать глумлению над остатками старой русской интеллигенции, что толкало их на физиологическую ненависть к деревне, к крестьянству.

В конце концов не следует забывать, что многие из представителей ленинской гвардии сделались жестокими расстрельщиками не только потому, что этого требовали обстоятельства, логика ими самими развязанной гражданской войны, но еще из желания «власть употребить», себя показать. «С ними церемониться не надо, — говорил в присутствии Ф. И. Шалапина по телефону Г. Зиновьев. — Принять самые суровые меры... Эта сволочь не стоит даже хорошей пули...»¹.

Не случайно же и «реэмигранты» и «домовики» поспешили изолировать, а затем вслух окрестить духовно и умственно несостоятельным Ленина, предложившего в конце жизни искать компромисс с остатками русской почвы, решившего, наверное, что идти дальше, до полной победы романтической мечты бессмысленно и безнравственно.

Кстати, может быть, не злой дух и не слепой рок двигал Г. Зиновьевым, Л. Каменевым и Н. Бухариным, когда они доверились И. Сталину и отдали ему власть, а темный инстинкт самосохранения, бессознательное стремление укрепить позиции «сильнейшего», того, кто обладал волей, силой, необходимой для сохранения завоеванной власти, и тем самым обезопасить себя. Может быть, и этот инстинкт, этот бессознательный, животный страх двигал «проигравшими», когда они, вопреки логике, начали со всей своей революционной энергией укреплять личную диктатуру Сталина?

Ведь магнетическим влиянием на людей обладал не только Ленин, о

чем много пишет в своих воспоминаниях И. Валентинов, но и Сталин. На такую особенность, твердость, уверенность Сталина обращали внимание почти все, кто с ним имел дело. «Когда я впервые увидел Сталина, — пишет в своих мемуарах Ф. И. Шалапин, — я не подозревал, конечно, что это — будущий правитель России, «обожжаемый» своим окружением. Но и тогда я почувствовал, что этот человек в некотором смысле особенный. Он говорил мало, с довольно сильным кавказским акцентом. Но все, что он говорил, звучало очень веско — может быть потому, что это было коротко <...> Из его неясных для меня по смыслу, но энергичных по тону фраз я выносил впечатление, что этот человек шутить не будет»¹.

К тому же не следует забывать, что даже после убийства Кирова мало кто из старой партийной гвардии предполагал, что Сталин способен на такое, что он прибегнет к физическому уничтожению своих бывших политических противников. «Сталину доверяли меньше всех, — говорила в ЦДРИ в январе 1988 года жена Бухарина А. Ю. Ларина, — но даже в 1936 году никто не мог предполагать, что он пойдет на то, на что он пошел в 1937 году».

Конечно, свои предположения о наличии особых, подсознательных мотивов сверхлевиэвизны подавляющего большинства вождей Октября я не могу подтвердить какими-либо документами. Герои Октября были поразительно скупы на признания, они почти ничего не рассказали потомкам о том, что творилось у них в душе, когда они отважились посягнуть на то, что казалось вечным, когда посылали умирать в бою за новую власть тысячи, сотни тысяч людей, подписывали тысячи, десятки тысяч смертных приговоров. Главная тайна революции, главная тайна нашей истории умерла вместе с ними. Только Л. Д. Троцкий чуть-чуть приоткрыл завесу над этой тайной. Но и то не для того, чтобы мы, потомки, стали мудрее, а для того, чтобы выглядеть в наших глазах лучше, чем он был на самом деле. О душе Троцкого-расстрельщика он так и не рассказал ничего.

¹ Шалапин Ф. И. Маска и душа, с. 218.

¹ Шалапин Ф. И. Маска и душа, с. 235.

ТРАГЕДИЯ ВОЖДЕЙ ПАРТИИ РАВЕНСТВА

Не составляет труда доказать, что нынешние попытки отделить «чистых» вождей Октября от «нечистых», оставить наше понимание истории Октября на уровне исходной идеи пьесы Шатрова «Диктатура совести» в своей основе несостоятельны. Впрочем, как и не составляет труда доказать, что сознательное или бессознательное, инстинктивное стремление в кратчайшие сроки перемолоть, превратить в муку старую, ситцевую Россию было основной причиной и предпосылкой становления сталинского тоталитарного режима. Но об этом потом. Сейчас о чистых и нечистых.

Если бы моральный и духовный разрыв между большевиками, прошедшими культурную выучку в эмиграции, и большевиками, гимназий и университетов не кончавшими, действительно был велик, то никакой Октябрьской революции не было бы. Трудно согласовать с фактами попытки объяснить поражение реэмигрантов их якобы культурной несовместимостью с остальной непросвещенной коммунистической массой, тем, что для красных командиров, рубивших шашкой во время гражданской войны, все эти интеллигенты в пенсне и с бородками были чуждым классом.

Не забывают: в 1917 году Троцкий, Зиновьев и другие интеллигенты, вожди большевистской партии, сразу, без всякой подготовки нашли общий язык не только с революционно настроенными матросами и командирами, но и с человеком с ружьем, патриархальным, безграмотным русским крестьянином, одетым в шинель. Вот у Г. В. Плеханова, несмотря на то, что он, казалось бы, свой, русский, который тоже вернулся на родину в начале апреля 1917 года, никакого контакта с массой не получилось. Он не мог говорить революционным массам то, что противоречило его убеждениям, не хотел им лстить. Но в то же время масса не хотела слушать никого, кто не был готов с ней соглашаться.

Не будем хотя бы сейчас лукавить. Ведь каждый политический деятель, пытавшийся тогда влиять на события, стоял перед нравственным выбором. Он мог связать свою судьбу с теми, кто руководствовался разумом, кто

стремился к цивилизованным методам решения политического конфликта. Но он мог связать себя и с наэлектризованной, потерявшей разум толпой, жаждущей чуда, расправы, готовой выпустить из своей души всепожирающего дьявола. Или с теми, кто готов был к консенсусу, диалогу, согласию, к действиям в рамках закона — или с теми, кто не хотел национального примирения, кто жаждал расправы, кто уже начал преступать закон, захватывать землю, жечь имения. Нет нужды доказывать, что людей, готовых преступить закон, переступить через нормы цивилизованного поведения, по крайней мере тогда, летом и осенью 1917 года, было в России намного больше, чем людей, не могущих в силу своих нравственных убеждений пойти на это. Так что в тех условиях выиграть политическую борьбу, захватить власть особого труда не составляло: надо было только сделать выбор, связать себя прежде всего с теми, кто жаждал расправы, кто был готов на все. Надо было только умело манипулировать неграмотной, взбудораженной толпой.

Перед этим выбором, с кем строить новую жизнь России, — с ее лучшим меньшинством, теми, кто жаждал честно трудиться, или с теми, кто стремился к чуду, легкому решению своих проблем, черному переделу, стояли все политические партии. Свидетельств тому очень много. Приведу самое достоверное воспоминание на этот счет беспартийного писателя В. Г. Короленко.

«В светлое летнее утро 1917 года, — записал в свой дневник В. Г. Короленко, — я ехал в одноконной тележке по деревенскому проселку между своей усадьбой и большим селом Ковалевкой. (...) Вражда разливалась всюду. Первый радостный период революции прошел, и теперь всюду уже кипел раздор. Им были проникнуты отношения друг к другу разных слоев деревенского населения. Я ехал по вызову жителей большого села, чтобы высказать свое мнение о происходящем... Я много писал о (...) карательной экспедиции чиновника Филонова (в Сорочинцах), меня за мои статьи держали почти год под следствием. Брошюра моя ходила по рукам, и это доставило мне некоторую местную известность.

Поэтому мои соседи хотели теперь знать мое мнение о происходящих событиях, и я не считал себя вправе уклоняться от ответа. Теперь я ехал и думал, что скажу этим людям. Им нужна земля, и они (большинство) ждут, конечно, что я, человек, доказавший свое благорасположение к простому народу, еще раз повторю то, что они уже много раз слышали за это время, — землявсья теперь принадлежит им; стоит только захватить ее, чтобы всех поравнять... Но... я не верил ни в возможность такого «равнения» захватом, ни в «грабежку», на которую грозила уже сойти аграрная реформа революции (...).

Я перешел к вопросу о земле, предупредив, что теперь мне придется говорить многое, что, может быть, покажется неприятным. И я изложил, насколько мог понятнее, свою точку зрения... Одна из важнейших задач — устройство земельных отношений. Кто думает, что это дело легкое, что тут все дело в том, чтобы просто отнять земли у одних и отдать их другим, — тот сильно ошибается...

Уже в начале этой части моей речи я видел, что настроение толпы меняется. Почувствовалось глухое волнение... Большинству ее мои мысли казались нежелательными и ненужными. А она уже привыкла, что к ней обращаются только с ласковыми и приятными большинству словами. Лесть любят не одни монархи, но и «самодержавный народ», а от лжи погибает не одни правительства, но и революции... Вероятно, человек, лучше меня владеющий предметом, мог бы добиться лучших результатов... Но передо мной была крестьянская масса, непривычная к самостоятельности и сложным процессам мысли. Она так долго жила чужой мыслью. За царями им жилось трудно, но был кто-то, что, предполагалось, думает за них об их благе. Надежды на царей не оправдались... Теперь пришла какая-то новая чудодейственная сила, которая уже наверное все устроит — и опять без них¹.

Люди, пишущие об интеллигентности Троцкого, Каменева, Бухарина, Зиновьева, да и самого Ленина, должны понимать, что речь идет в данном случае об интеллигентности особого

рода. По крайней мере эта их интеллигентность не имеет ничего общего с интеллигентностью В. Г. Короленко или Г. В. Плеханова. Она, ленинская гвардия, прибегла к гражданской войне и к террору не под влиянием насилия царизма и мерзостей русской жизни, как утверждает О. Лацис, а в результате сознательного, добровольного выбора. В этом нравственном отношении их террор ничем не отличается от террора сталинской коллективизации. Они, как и левые эсеры, пошли на то, перед чем остановились все другие политические партии. Они поддержали тех, кто стремился к расправе с «белой костью», к грабежу. Они освятили своим учением о классовой борьбе и экспроприации экспроприаторов наш русский жуткий бунт¹, они толкнули многих и многих к преступлению, они, сами того, наверное, не желая, разлили широкой рекой наше русское свинство². Возможно, она,

¹ Об этой диалектике марксистского и русского в нашей революции очень точно пишет Ф. И. Шаяпин в своих воспоминаниях. «Она, эта диалектика, считает он, наиболее выпукло проявилась в поэме Александра Блока «Двенадцать». В ней, пишет Ф. Шаяпин, замечательно сплетение двух разнородных музыкальных тем. Там слышна сухая механическая поступь революционной жандармерии... «Революционный держите шаг, неугомонный не дремлет враг...» Это — «Капитал», Маркс, Лозанна, Ленин... И вместе с тем слышится лихая, озорная русская завруха-метель: «В кружевном белье ходила? Походи-ка, походи! С офицерами блудила? Поблуди-ка, поблуди! Помнишь, Катя, офицера? Не ушел он от ножа. Аль забыла ты, холера, али память коротка?..» Это, заключает свой анализ Ф. Шаяпин, наш добрый знакомый — Яшка Изумрудов...» (Шаяпин Ф. И. Маска и душа, с. 241—242).

² Вот как описывает первые послеоктябрьские дни юга России в своем дневнике В. Г. Короленко: «Я получил письмо от ж.-д. служащего из Бендер: каждый день, отправляясь на службу, прощается с семьей, как на смерть. Насилия и грабежи со стороны... опять-таки солдат... Это — анархия. Общественных задерживательных центров нет. Где хорошие люди солдаты — они защитят от притеснения железнодорожника, где плохие, там никто их не удержит от насилия над теми же железнодорожниками, честно исполняющими свой долг. Общество распадается на элементы без общественной связи... «Южному краю»

¹ В. Г. Короленко в годы революции, с. 33—35.

ленинская гвардия, в это время, как и необразованные люди, верила в чудо, в легкое, простое, коммунистическое разрешение всех проблем России. Но из этого следует только то, что по своему сакральному восприятию мира она была очень близка этим невежественным массам, жаждущим нового чуда. Где же та особенная изысканность ума и интеллигентность ленинской гвардии, о которой так вдохновенно пишут сегодня и И. Клямкин, и О. Лацис, и В. Логинов, и многие, многие другие?

Блестящий оратор нашей революции Л. Д. Троцкий в своих речах не только снисходил к массам, а шел вместе с ними, полагая, что конфискация и экспроприация облегчат участь России.

У Л. Д. Троцкого все получалось превосходно. Он, как вспоминал Ник. Суханов, на митингах просто разрешал все затруднения недовольных масс, чем вызывал всеобщее расположение и одобрение. К примеру, он обещал, что «в каждую деревню советская власть пошлет солдата, матроса и работницу (на десятках митингов Троцкий говорил почему-то именно — работницу): они осмотрят запасы у зажиточных, оставят им сколько надо, а остальное бесплатно — в город или на фронт: петербургская рабочая масса с энтузиазмом встречала эти обещания и перспективы». Вполне понятно, размышлял над диким политическим успехом Л. Д. Троцкого меньшевик Н. Суханов, что всякая «конфискация» и всякая «бесплатность» рассыпаемых направо и налево с царской щедростью, были пленительны и неотразимы в устах друзей народа. Перед этим не могло устоять ничто. И это было источником самопроизвольного и неударжимого развития этого метода агитации... Богачи и бедняки: у богачей всего много, у бедняков ничего нет; все

пишут из Лебедина: недавно разгромлено имение Василевка, им. Глазмана. Прежде всего перепились на винном заводе. Задохлись в цистерне 3 человека, 8 опились до смерти, 22 отправлены в больницу... Племенной скот и инвентарь растащили по домам. Действовавшие энергичнее ранее захватили больше, чем вызвали неудовольствие солдаток: их мужей не было, когда они явятся, придется устроить новый дележ всего...» (В. Г. Короленко в годы революции, с. 61, 62, 63).

будет принадлежать беднякам, все будет поделено между неимущими. Это говорит вам ваша собственная рабочая партия, за которой идут миллионы бедноты города и деревни, — единственная партия, которая борется с богачами и их правительством за землю, мир и хлеб... Все это бесконечными волнами разливалось по всей России в последние недели... Все это ежедневно слышали сотни тысяч голодных, усталых и озлобленных... Это было неотъемлемым элементом большевистской агитации, хотя и не было и официальной программой»¹.

Если действительно, как считают сейчас многие публицисты, большевики-интеллигенты проиграли Сталину прежде всего потому, что они в своем духовном и нравственном развитии значительно опережали героев гражданской войны, среднего партийного активиста, говорили с ними на разных языках и оттого не были поняты, то почему им удавалось в 1917 году найти общий язык с миллионами, среди которых большинство даже не знало азов грамоты?

Почему они, лучшие ораторы Октября, нашедшие ключ к сердцам наиболее обездоленных, беднейших слоев России, то есть к сердцам наименее развитых в интеллектуальном отношении людей России, вдруг оказались такими «беспомощными», когда столкнулись лицом к лицу с этими же людьми, ряды которых поредели, но которые уже успели прикоснуться к политическому и социальному знанию? Казалось бы, с задавленным рабом интеллигентному, духовно развитому человеку говорить труднее, чем с этим же рабом, когда он стал свободным, превратился в хозяина своего положения. Тут в рассуждениях о трагедии наиболее развитой в духовном и нравственном отношении прослойки твердокаменных ленинцев, проигравшей циничному злодею, что-то не вжуются концы с концами.

Конечно, к 1929 году задачи партии коренным образом изменились. Но все же. Если большевикам-интеллигентам, прошедшим школу западной цивилизованности, было позволено

¹ Суханов Ник. Записки о революции. Книга седьмая. Берлин — Петербург — Москва, 1923, с. 23.

верить в 1917 году, что иначе как с помощью коллективных фабрик на земле, социализации крестьянского труда нельзя преодолеть бедность в русской деревне, то почему не имел право верить в это большевик-домовик Сталин?

В конце концов, если мы сегодня считаем возможным судить нравственным судом Сталина за то, что он в борьбе за власть опирался на наименее образованную, наименее интеллигентную часть общества, и прежде всего на неудавшихся собственников, на бедняцкие слои деревни, на людей озлобленных, жаждущих мести, то подобные же претензии мы обязаны предъявить и к ленинской гвардии, которая летом и осенью 1917-го руководствовалась той же политической ставкой на бедняка, наименее квалифицированные и образованные слои общества, на человека, желающего поправить свое материальное положение путем экспроприации, то есть самым простым способом. Более того, Ленину и Троцкому можно предъявить более жесткие обвинения, чем Сталину, ибо они первые пошли этим путем, сделали ставку на наименее развитую в духовном отношении часть общества, на тех, кто способен легко преступить закон, ворваться в чужой дом, посягнуть на жизнь другого человека.

Нельзя мыслить нравственными категориями только на площадке сталинских репрессий.

Да, они, Ленин и Троцкий, вся большевистская гвардия — они преступали старый закон во имя идеи, в надежде создать новый, более справедливый закон. Но они не могли не понимать, что в этот общий процесс перешагивания через прежний закон и нормы приличия, нормы простого человеческого общежития вольются те, кто не имеет никакой идеи, кто только ждал всю жизнь случая, чтобы с помощью революционного грабежа, нагана поправить свое положение, стать богаче. Они, сознательно взвалившие на себя, как пишет О. Лацис, ответственность за судьбы и будущее страны, были обязаны понимать, что в конкретных русских условиях праздник угнетенных может перерасти в праздник сволочи, отребья. Особой интеллигентности для этого прозрения не надо было. Об этой опасности с 1905 года пре-

дупреждали все, кто боялся социалистической революции в России. Этот праздник насилия, в сущности, стал неотвратимым и неизбежным с того момента, когда революция объявила, что все позволено, что нравственно все, что служит укреплению коммунистической власти. Социальной базой большевиков, по логике вещей, прежде всего стал или озлобленный или легкий элемент русской жизни, все те, кто не мог честным трудом добиться чего-нибудь серьезного в жизни, не был морально и профессионально готов к систематическому труду. Произошло то, о чем пророчествовали «Вехи» — идеалистический, романтический тип революционера сплошь и рядом соприкасался с уголовным элементом, что обнаружило изначальную ложь и марксистского революционного максимализма и ложь русского романтизма.

Борьба со старым русским мещанством обернулась царством нового коммунистического, самоуверенного и жесткого мещанства. «Большевицкая практика, — пишет в своих мемуарах Ф. И. Шалапин, — оказалась еще страшнее большевистских теорий. И самая страшная, может быть, черта режима была та, что в большевизм влилось целиком все жуткое российское мещанство с его нестерпимой узостью и тупой самоуверенностью. И не только мещанство, а вообще весь русский быт со всем, что в нем накопилось отрицательного. Пришел чеховский унтер Пришибеев с заметками о том, кто как живет, и пришел Федька-каторжник Достоевского со своим ножом. Все пришли и добром поклонились Владимиру Ильичу Ленину...

Пришли архивариусы незабвенных уездных управ... недоучившиеся студенты, неудачники-фармацевты. Пришел наш знакомый провинциальный полунинтеллигент, который в серые дни провинциальной жизни при «скучном» старом режиме искал каких-то особенных умственных развлечений. Это он выходил на станцию железной дороги, где поезд стоит две минуты, чтобы четверть часика погулять на платформе, укоризненно посмотреть на пассажиров первого класса, а после проводов поезда как-то особенно значительно сообщить обожаемой гимназистке, какое глуп-

бокое впечатление он вынес вчера из первых глав «Капитала». Пришел также знакомый нам молодой столичный интеллигент, который не считал бы себя интеллигентом, если бы каждую минуту не мог щегольнуть какой-нибудь марксистской или народнической цитатой... Пришел и озлобленный сиделец тюрем при царском режиме, которого много мучили, а теперь и он не прочь помучать тех, кто мучал его...»¹

И вряд ли можно упрекнуть автора этого живописания коммунистического мещанства в пристрастности, в стремлении опорочить новую власть России, с которой он не поладил. Это не пародия, а правда. С коммунистическим мещанством уже в период гражданской войны начал бороться Ленин и немногочисленные убежденные аскеты большевизма. Но это с самого начала была обреченная борьба.

Вожди большевизма, окружавшие Ленина, — Троцкий, Луначарский, Каменев, Зиновьев, — в быту, в своих привычках оставались закоренелыми провинциальными мещанами, провинциальными адвокатами, литераторами и парикмахерами. Сразу же после революции они заняли дачи «бывших», они охотились, как помещики в старину, они сидели в ложах царской фамилии. И это они сразу же развели семейственность, доверили своим малообразованным женам и сестрам управлять театрами, просвещением и т. д. И при этом, хорошо, по-европейски одеваясь, всем своим укладом жизни нацеленные на традиционное буржуазное благополучие, как Лев Борисович Каменев и его жена Ольга Троцкая, они любили порассуждать о благе народа, о том, что «народ исстрадался, что начинается новая эра, что эксплуататоры и вообще подлецы и империалисты больше существовать не будут, не только в России, но и во всем мире»².

Л. Д. Троцкий не любил ходить на плебейские попойки, которые уже в годы гражданской войны по вечерам начал устраивать Сталин, но он любил сидеть в Большом театре в ложе, которую раньше занимал великий князь Сергей Александрович,

наезжать на дачу в Архангельское, бывшее имение Шереметевых, и т. д. Это, конечно, не размах Л. И. Брежневца. Но это начало того ханжества, скрытого мещанства, которое пришло на смену социальным контрастам царской России.

Или еще один герой нового коммунистического мещанства, первый официальный поэт социалистической России Демьян Бедный. Псевдоним, как известно, ему не подходил ни в каком смысле. Бедного в Демьяне было очень мало во вкусах и нраве. Живущий в Кремле, когда в Москве вымирали люди в нетопленных квартирах, он любил бросать в свой камин первосортные березовые дрова, просто для того, чтобы на душе было весело от огня, от его жара. И при всем при этом он считал себя сто процентным коммунистом.

Я уже не говорю о более грубом и более позднем, циничном и безнаказанном коммунистическом мещанстве, которое процветало на нижних этажах новой государственной лестницы! Новые хозяева жизни, как свидетельствуют в своих дневниках, воспоминаниях многие представители старой русской интеллигенции, были в быту намного страшнее тех, кто был наверху. Колоритно и в красках описывает одну из своих встреч с новыми хозяевами жизни в своем дневнике «1930 год» М. Пришвин: «... На днях приехал в деревню зять хозяина, коммунист, матрос с женой, дочерью хозяйки. Она истеричка, изнеженная, так сказать «абортовая». Зашел разговор о детях, он говорит: «Нет, этого не будет!» Павловна ему: «Вы партиец и должны пример давать нам, а если все, как вы, то и род прекратится». «А и пусть, — ответил он, — меньше будет этой сволочи. Вот если бы в 18 году всю буржуазию перерезали, так нам бы и пятилетки не надо было теперь, все давно бы сделали...» В то же время жена его, дочь хозяйки, не видит никакого смысла в деревенской жизни: в Москве театр, чисто, легко — и все!»

Я не осуждаю ни мещанство вышних бар марксизма, ни новое мещанство из бывших матросов. Человек на то и человек, что стремится к достатку. Произошло то, что произошло, и ничего другого произойти не могло. Человек на то и человек,

¹ Шаляпин Ф. И. Маска и душа, с. 242—243.

² Шаляпин Ф. И. Там же, с. 229—230.

чтобы прежде всего думать о себе и ближних. В этом, наверное, скрыта тайна сохранения жизни.

Я только осуждаю тех литераторов, которые пытаются превратить жертвы Сталина, выдающихся представителей ленинской гвардии, того же Троцкого, Бухарина, Каменева, Зиновьева в этаких небожителей, героев идеи, нравственности и правды.

Все это ложь. Ибо все они, как и Сталин, став на путь революционного, насильственного переустройства России, всего мира, солгали себе, задушили свою совесть, если она у них была, и потом уже были вынуждены непрестанно лгать.

Они все связали себя с ложью, погрязли во лжи, когда начали обещать отсталой, измученной России скорое коммунистическое царство, легкое решение всех ее экономических проблем. Они лгали, когда обещали людям и измученным солдатам мир, ибо с самого начала стремились не к миру, а к «превращению империалистической войны в гражданскую», стремились к насильственному разрушению старого государства, церкви, всей социальной и классовой структуры общества, они стремились к мировому пожару, к целой цепи пролетарских революций.

Они лгали людям, когда говорили им, что вся истина мира в марксизме, который является вершиной человеческой мудрости, что он, человек, должен разрушить все старые верования и святыни, что вечные принципы морали — это выдумка буржуазии.

Они лгали не только людям, но и себе. Призывая людей, весь мир к духовному перерождению, жертвуя во имя идеи переделки человеческой природы миллионов жизней, они, кроме Ленина и, возможно, Дзержинского, и пальцем не пошевелили, чтобы обуздать свою плоть и честолюбие, чтобы привести свои эгоистические страсти в соответствие с жертвенным характером эпохи, которую они сами навязали России.

Ложно и двусмысленно было их положение вождей партии равенства и справедливости. Они обещали людям равенство, равное счастье и равное страдание, но сами в силу своего исключительного, вождистского положения всячески уклонялись от этой уравнительной справедливости. Они

связывали свой политический выигрыш, свою политическую карьеру революционеров с Россией, со своей родиной, без нее они были бы ничто как политические деятели, но они сами избавили себя от тягот войны, от тягот окопной жизни, которые выпали на долю миллионов офицеров и солдат, дворян и мещан, крестьян и рабочих.

Марксистское, интернационалистское мировоззрение этих людей ставило их по отношению к своей родине в очень уязвимое положение. Они как мужчины, как интеллектуалы не только не могли помочь тем миллионам солдат, которые жили в окопах, но жаждали их скорой гибели, ибо жаждали быстрее поражения России в войне, жаждали недовольства, а следовательно, революции. Можно по-разному относиться к творчеству А. И. Солженицына и к его исследованию причин катастрофы 1917 года «Красное колесо». Но нельзя не признать его нравственную правоту в критике пораженческой стратегии Ленина и поддерживающих его русских социал-демократов¹. Наступает момент, когда надо выбирать: или ты русский или ты не русский? Тут в этой ситуации третьего не дано. И никакая диалектика не

¹ «И все народы даже от третьего года такой кровавой войны, — рассуждал про себя Ленин, герой повествования А. Солженицына, — не видно, чтобы просыпались. Но, как всегда, безнадежнее всех русский народ. Именно он нес главные обильные потери, именно русские тела штабелями наваливались против немецкой организации и техники... Эти цифры русских потерь всякий раз находил и ногтем отмечал Ленин — с удовольствием и удивлением. Чем крупней были цифры, тем радостней: все эти убитые, раненые и пленные вываливались как колья из самодержавного частокла и ослабляли монархию. Но и эти же цифры приводили в отчаянье, что нет на Земле народа покорней и бессмысленней русского. Границ его терпения не существует... Невоспламеняемые русские дрова! Отошли в историю лучшие костры — соляные, холерные, медные, разинские, пугачевские. Разве только на захват соседнего поместья, всем видимого и известного, а то ведь никакой пролетариат и никакие профессиональные революционеры никогда не раскажут черную мужицкую массу» (А. Солженицын. Красное колесо, Узел II. Октябрь шестнадцатого. Имка-Пресс, 1984, с. 117—118).

поможет. Не случайно же ортодоксальный марксист Г. В. Плеханов стал оборонцем. Нормальный человек не может согласиться с военным поражением, с разгромом своей родины. По этой причине многие честные интеллигенты-патриоты и отшатнулись от октябрьского переворота. «Интересно, — записывает в дневник В. Г. Короленко, — мне сообщили, что в совете можно говорить все что угодно. Не советовали только упомянуть слово «родина». Большевики уже так нашколили эту темную массу на «интернационалистский» лад, что слово «родина» действует на нее, как красное сукно на быков» (с. 54).

Но такова была нравственная плата за стремление выиграть, начать коммунистический путь как можно скорее. Назвать такую позицию духовно выверенной трудно, тут даже Сталин-оборонец выглядит предпочтительнее. Успех той или иной политической тактики сам по себе не несет ее нравственное оправдание, не делает ее более истинной.

Позиция вождей Октября была уязвима с нравственной точки зрения еще и потому, что они призывали людей к тому, чего себе не желали, и к чему, как люди, в силу своего духовного устройства, часто не были готовы. Они (Ленин, Зиновьев, Каменев, Бухарин) звали русский рабочий класс к ожесточению, к драке, физическому столкновению с классовым врагом, к вооруженному восстанию, но сами, как вожди, руководители, были избавлены от необходимости физически рисковать собой, своей жизнью. И это противоречие в позиции вождей — не просто плод логических конструкций. Его, к примеру, видели многие русские социал-демократы, близкие к Ленину, ощущающие на себе давление его революционного нетерпения, его постоянное подталкивание к драке. Но одновременно и его полную неподготовленность к личному участию в вооруженной борьбе. Той обычной «гармонии слова и дела», приписываемой Ленину, вспоминает Н. Валентинов, у него как раз и не было. Он никогда не пошел бы на улицу «драться», сражаться на баррикадах. Это могли и должны были делать другие люди, попроще, отнюдь не он. В своих произведениях, призывах, воззваниях он колет, рубит, режет, его перо дышит ненавистью

и презрением к трусости. Можно подумать, что это храбрец, способный на деле показать, как не в «фигуральном», а в «прямом физическом смысле» нужно вступать в рукопашный бой за свои убеждения. Ничего подобного! Даже с эмигрантских собраний, где пахло начинающейся дракой, Ленин стремглав убегал. Его правилом было «уходить подобру-поздорову» — слова самого Ленина! — от всякой могущей грозить ему опасности. Мы, например, знаем из его пребывания в Петербурге в 1906—1907 годах (он жил тогда под чужим именем), что эти опасности он так преувеличивал и доводил до таких пределов пугливое самообережение, что возникал вопрос: не есть ли тут только отсутствие личного мужества? Л. Троцкий, как и многие другие, заметивший эту черту Ленина, дал ей следующее объяснение. «К. Либкнехт был революционер беззаветного мужества. Соображения собственной безопасности были ему совершенно чужды. Наоборот, Ленину всегда была в высшей степени свойственна забота о неприкосновенности руководства. Он был начальником генерального штаба и всегда помнил, что во время войны он должен обеспечить главное командование»¹.

Несомненно, у генерала своя смелость, у солдата другая. Можно в этой связи еще напомнить, что нельзя от человека требовать невозможного, чтобы он обладал всеми духовными добродетелями в равной мере. Для Ленина оказалась достаточной та смелость, какой он обладал, какой было достаточно, чтобы сохранить себе личную безопасность в правовом государстве. Не следует забывать, что у инакомыслящего, даже подпольщика, ратующего за свержение существующего строя, при царе было в сотни раз больше шансов сохранить жизнь, чем при Ленине и, тем более, при Сталине.

Но все дело в том, что и Ленин и его гвардия отбрасывали в своем революционном максимализме ту терпимость старой цивилизации, которая объясняла и оправдывала их личные слабости. Они требовали от

¹ Валентинов Н. Встречи с Лениным, с. 47—48.

мира, от общественной жизни, от людей практически невозможного, полного разрыва с прошлым, но в то же время в своих личных чертах, в своем революционном эгоизме, честолюбии, а порой в откровенном цинизме, нетерпимости, в своих человеческих слабостях оставались типичными представителями старого мира.

И это сразу же до Октября и в Октябре и после Октября усугубляло изначальную ложность, двусмысленность их тактики, их поведения, которую улавливал любой духовно здоровый человек.

О непреодолимом, моральном и эстетическом, ощущении ложности политической тактики большевиков, их логики, мышления, их толкования событий писал в своих записках о революции тяготеющий к ним меньшевик Николай Суханов. Об этом же ощущении пишет беспартийный Ф. И. Шаляпин. «Я заметил, — говорит он о первых днях после революции, — что искренность и простота, которые мне когда-то глубоко импонировали в социалистах, в этих социалистах последнего выпуска совершенно отсутствуют. Бросалась в глаза какая-то сквозная лживость во всем. Лгут на митингах, лгут в газетах, лгут в учреждениях и организациях. Лгут в пустяках и так же легко лгут, когда речь идет о жизни невинных людей»¹.

И нормальному, здоровому человеку, привыкшему мыслить по логике старой, нормальной жизни, трудно было не замечать и не видеть эту ложь новой официальной идеологии. Исходная ложная идея переделки человека рождала ложь бытовую, повседневную. «Я понимаю, писал в своем дневнике В. Г. Короленко, когда большевики осуждают царя и самодержавие за 9 января, за расстрел безоружных рабочих, но не могу понять, почему они считают законным и оправданным учиненный ими расстрел мирной демонстрации рабочих в поддержку Учредительного собрания 5 января 1918 года. «Одному латышу-красногвардейцу сказали: — Зачем вы убиваете рабочих? — Рабочим было приказано сидеть дома». Так же было «приказано» и 9 января»².

Ложь, по-видимому, не могла не проникать в сознание, в душу, в политическую тактику большевиков после Октября по той простой причине, что они с самого начала руководствовались надуманными, мифологическими критериями добра и зла, нормы и аномалии. То, что было вечным, большевики считали временным и преходящим, а то, что было случайным, игрой ума, — истинным и вечным. Добиться этих противоположных целей можно было только с помощью принуждения, страха, насилия. Ложь исходной идеи вела к абсолютизации насилия. А постоянное, перманентное насилие требовало постоянно лжи в свое оправдание. Чем больше была ошибка, тем больше было лжи в официальной идеологии. В результате вся партия, ее история стали заложниками лжи. А все ее члены стали участниками растянувшегося на десятилетия спектакля лжи. Короткая передышка этой вакханалии абсурда и лжи наступила только с началом нэпа. Но и то ненадолго. Очень скоро ложь военного коммунизма сменилась ложью сталинского форсированного строительства социализма и коммунизма. Это уже было настоящее буйство лжи. «Поражает наглая ложь, — записывает в свой дневник М. Пришвин. — (Умные лгут, глупые верят.) Пишут, будто как коллективизация, так и раскулачивание происходили сами. Это совершенно то же самое, что в 18 г. «грабь награбленное»: кто-то разрешил грабить, а потом грабеж сам пошел и стал народным. Такого рода «успехи» кружат голову. Кончается тем, что центральная власть отнимает «самость» у движения и винит во всем разгулявшихся товарищей (легкую кавалерию)»¹.

И. Клямкин в своей статье «Какая дорога ведет к храму?» утверждает, что наша социалистическая революционная интеллигенция пошла, как он пишет, за революционным порывом масс, чтобы не оставить народ в это трудное время. Но эта сентиментальная версия единения ленинской гвардии с жаждущим бури народом не согласуется с реальными фактами. Большевики, революционное крыло русской социал-демокра-

¹ Шаляпин Ф. И. Маска и душа, с. 218—219.

² В. Г. Короленко в годы революции, с. 88.

¹ Пришвин М. 1930 год, с. 145.

тии не просто пошли за революционными настроениями масс, не желая их оставить в беде. Они жаждали, ждали этого взрыва революционности, они тосковали по революции, ибо она была их кумиром, делом их жизни. Революция в России была прежде всего их личным, и в этом смысле эгоистическим, интересом. Ибо все они, русские профессиональные революционеры, ожидали не примирения, не национального соглашения, не экономического процветания страны, а революционного взрыва. Они на это положили жизнь, и никто из них уже не хотел быть просто адвокатом, просто репортером, просто инженером или парикмахером. Они связывали свое особое предназначение в жизни с грубым, физическим столкновением масс.

Далее — не следует забывать, что большевики об этом всегда говорили вслух: они готовили массы к революции, они сознательно воспитывали у трудящихся непримиримость к существующему строю, толкали их к драке, к борьбе с самодержавием, а потом с Временным правительством. Это была их профессия, и они делали свое агитационное дело не покладая рук, честно и добросовестно. Так что со всех сторон главная ответственность за все, что произошло в России, с 25 октября ложится на тех, кто сделал выбор, кто повел массы к этому выбору.

Г. Померанц в своем эссе пишет, что романтик революции Л. Д. Троцкий в 1917—1922 годах был кумиром матросских митингов. Это святая правда. Но ведь если честно — этот факт также характеризует его нравственное и духовное развитие не с

самой лучшей стороны. Кумиром у этих выведенных из душевного равновесия людей, озлобленных, убежденных, что революция им все позволила, рассуждающих по принципу «Что сделано, — то сделано, а суда над нами не может быть», мог быть человек только близкий им по духу, большой, как и они, ненавистью к тому, что ненавидели они, заинтересованный в этой их ненависти. Красные матросы вместе с революционной энергией, непримиримостью к буржуазии, старому миру принесли в нашу революцию много неоправданной, немотивированной жестокости. Сразу же после установления советской власти в Севастополе, Евпатории они устроили массовые убийства так называемой «буржуазной интеллигенции». Им принадлежит заявление «Особого Собрания Моряков Красного Флота Республики», призывающее к террору, к расправе. «Мы, моряки, — говорилось в этом заявлении, — решили: если убийства наших лучших товарищей будут впредь продолжаться, то мы выступим с оружием в руках и за каждого нашего убитого товарища будем отвечать смертью сотен и тысяч богачей, которые живут в светлых и роскошных дворцах, организовывая контрреволюционные банды против трудящихся масс, против тех рабочих, солдат и крестьян, которые в Октябре вынесли на своих плечах революцию». Это красный матрос Железняков, начальник караула, разогнавшего Учредительное собрание, говорил, что для благополучия русского народа можно убить и миллион людей.

Продолжение следует

НУЖЕН ЛИ НАМ ПАЛАЧ?

Вопрос о принципиальной допустимости смертной казни наконец-то признан дискуссионным. Более семидесяти лет подобные споры считались неуместными: власть имущие принимали то или иное решение, повелевая народу «единодушно выражать одобрение». Разногласия попросту игнорировались. Ныне единодушие декретировать нельзя. Отношение к узаконенному убийству — показатель состояния нравственности общества, и общество желает знать правду о себе.

Итоги споров подводить еще рано, однако и первые результаты оказались ошеломляющими. Столь часто поминаемая публицистами дегуманизация — это, пожалуй, слишком мягкое определение. Впору говорить о массовом озверении (да простят мне читатели некоторую вольность формулировки).

Так, например, исследованием, проведенным недавно Ленинградским телевидением, установлено: пятьдесят процентов опрошенных считают смертную казнь безусловно необходимой мерой, причем сорок процентов готовы лично приводить приговоры в исполнение¹.

А ведь в России слово «палач», «кат», употребляемое вне контекста служебной терминологии, всегда считалось оскорбительным. И вдруг — такое обилие добровольцев. Случайность? Но вот еще один пример. В 1989 году издательством «Юридическая литература» выпущен сборник «Смертная казнь: за и против?». В книгу вошли статьи известных русских и советских философов, правоведов, писателей, социологов и журналистов. Примечательно, что во все, так сказать, «старорежимные» авторы безоговорочно против узаконенного убийства, а вот подавляющее большинство наших современников — за, хотя и с оговорками¹.

Вряд ли составителям этого сборника можно поставить в вину тенденциозный подбор материалов. Русским интеллигентам действительно было свойственно неприятие смертной казни, исключения тут крайне редки, нехарактерны. И вполне очевидно, что в наши дни ситуация радикально изменилась.

Конечно, мы пережили жестокие времена. Однако непреклонность ны-

¹ См. «Родина», 1989, № 6, с. 78.

¹ См. «Новый мир», 1989, № 11, с. 262—267.

Давид Маркович ФЕЛЬДМАН (1954 г. р.) — младший научный сотрудник Института мировой литературы АН СССР. Основные научные интересы сосредоточены в области маргинальных проблем истории литературы: «словесность и коммерция», «словесность и политика», «словесность и право», «словесность и мораль». Специалист по социологии русской литературы и литературного чтения (XX век). Подготовил диссертацию «„Никитинские субботники“ как литературно-издательская организация». Публиковался в журналах «Литературная учеба», «Новый мир», «Родина», «Общественные науки», в еженедельнике «Литературная Россия» (см. об этом КОЛОСОВ М. Открытое письмо Юрию Бондареву // «Огонек», 1989, № 1, с. 8). В настоящее время в соавторстве с М. П. Одесским работает над книгой «Modus vivendi: Советский менталитет (очерк истории)» (Из содержания: «Поэтика террора», «Поэтика труда», «Поэтика общепита», «Поэтика казармы» и др.).

нешних интеллектуалов и энтузиазм добровольцев все же настораживают. Возникает закономерный вопрос: да знают ли, понимают ли они, к чему призывают и что готовы творить?

Понимание, судя по всему, довольно смутное. В сознании большинства смертная казнь — это некая абстракция: вот был преступник, а вот уже и нет его, словно стерли ластиком неудачный штрих. И никаких подробностей: все легко и просто, быстро и удобно. Вроде бы и возмущаться нечем.

То, что само содержание термина «расстрел» оказалось как бы вне рамок дискуссии, конечно же не случайно. Описание процедуры узаконенного убийства существует, но доступно лишь немногим избранным. Мне, например, не удалось ознакомиться с ним. Но есть и иные документы, достаточно проясняющие суть дела. О них и пойдет речь. О документах эпохи Великой французской революции. Тогда (как и ныне) смертная казнь была и всеобщим, и средством устрашения, а главное — убивали публично и руководства по умерщвлению не хранили под грифом «секретно». Накал борьбы нарастал, и вожди нации осознали необходимость усовершенствования процедуры уничтожения. Специалисты, разумеется, не остались в стороне. Вот что писал об этом знаменитый палач Шарль Анри Сансон, мастер обезглавливания:

«Для того, чтобы казнь могла быть совершена согласно требованиям закона, необходимо, чтобы при полном отсутствии сопротивления со стороны осужденного исполнитель приговора был все-таки очень ловок, а осужденный очень спокоен. Без этих условий никогда не удастся завершить дело при помощи меча.

После каждой казни меч уже не может служить для новой казни, так как он легко зазубривается; совершенно необходимо, чтобы он был заново отточен и выправлен, если имеется несколько осужденных, которые должны быть казнены одновременно; следовательно нужно будет располагать известным количеством мечей, заранее заготовленных...

Следует обратить внимание на то, что при наличии нескольких осужденных, которых нужно будет казнить

одновременно, ужас, который вызывает этот род казни, вследствие невероятного обилия крови, вызываемого им, вносит смятение и малодушие в сердца самых храбрых преступников, которых еще остается казнить. Так как они не могут обыкновенно держаться на ногах, их приходится силой влечь на плаху, и казнь превращается благодаря этому в борьбу и в резню.

Судя по казням иного рода, не позволяющего рассчитывать на такую точность исполнения, которая в данном случае требуется, можно наблюдать, что часто осужденные падают в обморок при виде уже казненных товарищей, или же, в лучшем случае, они теряют силы от страха... но в таком виде казнь не удаётся, если осужденный ослабевает.

Разве можно держать в повиновении человека, который не сможет или не захочет держаться твердо?»

Обязанности Сансона были и в самом деле нелегкими. Убийство — тяжелый физический труд. Палачу приходилось пользоваться помощью целой бригады учеников и подручных. Это они волокли непокорных на плаху, оттаскивали трупы, посыпали песком или опилками лужи крови, а затем сывали их, дабы трупная вонь на рабочем месте не мешала заплочным дел мастеру. Неловкость или ошибка палача существенно продлевали муки жертв, что вызывало гнев и сострадание зрителей, а это уже противоречило смыслу казни как зрелища. Кроме того, возмущенная толпа могла смять охрану и освободить осужденных.

Во избежание подобных инцидентов 25 марта 1792 года был издан «Закон о смертной казни и способе ее исполнения».

Национальное собрание, принимая во внимание, что ненадежность способа исполнения казни, указанного в пункте 3 главы 1 уголовного уголовного наказания, не дает возможность выполнить казни нескольких преступников, осужденных на смерть; что совершенно необходимо исправить это неудобство, могущее иметь нежелательные последствия (разрядка моя. — Д. Ф.), что человеколюбие требует, чтобы смертная казнь была, по возможности, безболезненна, — декретует спешность.

Национальное собрание, декретивов спешностью, декретивует, что п. 3 гл. I уголовного уложения будет приводиться в исполнение способом, указанным и принятым в заключении, подписанном несменяемым секретарем хирургической академии и приложенном к настоящему декрету».

Итак, террористам потребовалась еще и научная организация труда. Они ведь были гуманистами по происхождению, а потому работу палача должен был планировать врач. «Мотивированное мнение по поводу способа обезглавливания» изложил Антуан Луи. Вероятно, он осознавал, что решение подобной задачи не предусмотрено клятвой Гиппократата, а потому постарался доказать, что руководствуется именно и исключительно интересами человеколюбия: «Опыт и разум в одинаковой степени доказывают, — писал он, — что способ выполнения казни, принятый до сих пор при отсечении головы преступнику, подвергает его более ужасным мучениям, нежели простое лишение жизни, чего добивается закон; для того, чтобы выполнить его, необходимо, чтобы казнь была совершена мгновенно и одним ударом; примеры доказывают, как трудно достигнуть этого».

Обосновав таким образом необходимость своего участия в деле убийства, доктор Луи переходит к практическим советам: «Все знают, что режущие инструменты имеют очень малую силу, когда они ударяют в перпендикулярном направлении; исследуя их через увеличительное стекло, можно увидеть, что они представляют собой более или менее мелкие пилы, которые должны скользить по телу, имеющему быть отделенному. (Вот что значит быть специалистом: неважно, кого и зачем резать, главное: как это делать. А для того чтобы делать правильно, нужно иметь познания в анатомии, которыми, разумеется, обладают доктор Луи, Сансон и другие умельцы! — Д. Ф.) Принимая во внимание структуру шеи, центром которой является позвоночный столб, составленный из нескольких костей, связанных между собой так, что одна кость входит в другую без смычек, совершенно невозможно быть уверенным в скором и совершенном отделении, ес-

ли это отделение поручается человеку, ловкость которого находится в тесной зависимости от условий нравственных или физических (разрядка моя — Д. Ф.)».

Вот, наконец, и сформулировано самое главное условие: процедура умерщвления должна быть такой, чтобы итог не зависел от квалификации убийцы. Обученных палачей было в ту пору много меньше, чем требовалось для нужд революции. Но тут весьма кстати пришла эрудиция доктора Луи. «Совершенно необходимо для правильности действия, — писал он, — чтобы весь процесс зависел от механической силы, которой можно придать неизменную интенсивность. Такое решение было принято в Англии: там преступник кладется ничком между двух столбов с перекладиной сверху, откуда на его шею опускается полукруглый топор при помощи выключателя».

Перспективный способ был найден. Оставалось лишь внести некоторые усовершенствования: «Легко построить аппарат, действие которого было бы неминуемо верным; обезглавливание будет проводиться в одно мгновение, согласно духу и требованию нового закона; легко будет произвести опыт над трупом и даже над живым бараном. В таком случае можно будет убедиться, не будет ли полезным придерживать голову пациента в неподвижном положении при помощи доски с полукруглым вырезом, который бы охватывал шею у основания черепа; концы этой доски могли бы удерживаться на эшафоте при помощи крючков».

Как все же старается доктор Луи не выходить за рамки медицинской специфики и терминологии, подчеркивая тем самым, что он — ученый, а вовсе не палач. Вот ведь и жертву, шею которой предлагается зажать в колодки, дабы отрезать голову без помех, он именует пациентом. Да, у медиков ГУЛАГа и их коллег был достойный предшественник. (Кстати, Ж. Ж. Гийотен, сконструировавший гильотину по предложенной модели, — тоже врач.)

Но воздержимся пока от дальнейших аналогий. В данном случае важно то, что усовершенствование орудия казни позволило решить проблему кадров. Палачу теперь не требо-

валось особой выучки, равным образом силы или ловкости. На эту должность можно было назначить любого достойного гражданина Респубрики.

Изобретение гильотины ликвидировало и санитарно-гигиеническую проблему. Отрезанная голова падала в специально заготовленный кожаный мешок или корзину с опилками. Те же опилки впитывали кровь из перерубленной шеи, что значительно облегчало уборку рабочего места палача.

Так «быстродействующий механизм доктора Гийотена» стал символом террора. Но столетие спустя публичные казни были уже безоговорочно признаны варварским обычаем, развращающим народ. Да и вообще, убийство преступника, сопряженное с обильным пролитием крови, шокировало просвещенных правителей. Поэтому распространение получил иной метод — повешение. Он считался традиционным.

В России, согласно закону, казнь совершалась в присутствии помощника прокурора, следившего за соблюдением процедуры. Смерть повешенного констатировал врач, специально для этого приглашенный. Штатных палачей в ту пору не было. Надо полагать, сословные или иные предассудки не позволяли тогдашним администраторам признать наемного убийцу государственным служащим. Вот почему приходилось платить вешателям сдельно и вербовать их для каждого случая среди уголовников.

Это создавало изрядные неудобства, порою приходилось откладывать казнь, поскольку даже воры и убийцы предпочитали десятилетия каторги тюремным льготам и денежному вознаграждению за такую работу. Брезгливое презрение и ненависть повсеместно ожидали палача-добровольца. Но рано или поздно соответствующего подонка удавалось найти. Подонки всегда находят, если есть спрос и благоприятные условия для их воспитания.

Впрочем, административные трудности были связаны не только с поисками вешателей. Ю. Н. Тынянов, например, счел необходимым в своей автобиографии рассказать об отношении медиков к узаконенному убийству в эпоху первой русской револю-

ции: «Врачи должны были присутствовать при казни. Но даже древний дерптский немец, друг нашего старого учителя-дуэлянта, отвечал, что не считает нужным присутствовать при удушении людей, так как лечение сомнительно. Только один ложенный поляк в золотых пенсне (была у него золоченая мебель) присутствовал, и скоро должен был уехать — больные забастовали».

Конечно же, «бастовали» не только больные. И коллеги не подавали руки, и знакомые сторонились. Это было закономерно: по мнению общества, врач, оценивающий работу палача, становился соучастником убийства. Такое не прощали. Ведь лучшие умы России считали смертную казнь национальным позором. Именно позором, вот что важно.

«Черной мессой» называл ее В. В. Розанов. «Вешают платье в гардероб, а человека делят», — писал он. Палач «затягивает петлю на горле человека и давит его, как кошкодер на живодерне. Эти живодерни именуются отчего-то и обставляются в «делопроизводстве» не своими словами, не собственными названиями, а уворованными чужими словами из лексикона порядочных людей».

Пожалуй, именно В. В. Розанов, не удостаивая анализом «лукавые слова» законов, яснее всех показал всю безнравственность осуждения на смерть. И преступник, писал он, «вправе сказать: «Я удавил помещицу Киселеву, а завтра меня удавят судьи. И все мы душители: я — вчера, судьи — завтра». И уже читателю остается добавить: «И всем вам та же цена: отродья Сатаны, дьяво-лы».

Разумеется, и в те годы противники узаконенного убийства доказывали, что не жестокость возмездия способствует снижению преступности, а неотвратимость разоблачения, и что достигается она лишь развитым правоохранительной системы. Разумеется, о гуманности, о сострадании к жертвам, о возможности судебных ошибок и гибели невинных тогда тоже писали. Но не менее веским аргументом была апелляция к чувству собственного достоинства с в о б о д н о г о человека, не желающего иметь ничего общего с палачом.

Рабу не дано презирать наемного

убийцу; воспитанный страхом, он сам по воле хозяина убивает или становится жертвой. Лишь свободному человеку, осознавшему, что свобода — неотъемлемое, природное, в себе общее право, отвратительна идея воспитания общества палачом.

Тогда это отвращение казалось естественным, оно само собой подразумевалось даже и без дополнительных формулировок. Сейчас, кстати, тоже, но — не у нас. Вероятно, в нашей стране презирать палачей некому.

Эпоха террора изувечила психику нескольких поколений. Все, кто не желал покориться, не желал признавать, отрекаться, рукоплескать или забрасывать камнями по приказу, подлежали уничтожению. Непокорный рисковал не только собой: кара могла обрушиться на его семью, родственников, друзей, знакомых. Шок массовых репрессий парализовал общество. Под ликующие марши беспрекословное повиновение воле государства было провозглашено высшей добродетелью «человека и гражданина». Это вдальблизилось десятилетиями и, надо признать, довольно успешно, поскольку использовались «лучшие творческие силы страны».

Само понятие свободы заменилось понятием свободного выбора... той или иной службы. Палачи сразу же стали государственными служащими, причем весьма привилегированными. Выражать им презрение было так же опасно, как выражать презрение государству. Да и за что? Ведь любой труд почетен, а почет измеряется количеством наград и привилегий...

Все это было, но не прошло. Потому и тема палача, его места, роли в обществе и правосудии хоть не относится к числу запретных, а все же касаться ее как-то не принято. Вот характерный пример — о смертной казни пишет Г. Рожнов, офицер, много лет служивший в тюрьмах и лагерях, а потому хорошо знающий, что такое расстрел: «Неслышно, в специально на то оборудованной камере следственного изолятора звучит выстрел. Волею суда оборвана еще одна преступная жизнь».

Стоит обратить внимание на умелое построение этой фразы. Вроде бы все сказано. А на самом деле — не сказано ничего. «Звучит выстрел».

Но кто стрелял? Кем «оборвана еще одна преступная жизнь»? Да вроде бы никем. «Волею суда...»

Французский палач почти двести лет назад писал, что иногда осужденных «приходится силой влечь на плаху, и казнь превращается благодаря этому в борьбу и в резню». А сейчас, в «специально на то оборудованной камере следственного изолятора» — не превращается? Если нет, то каким способом удается (по словам Сансона) «держат в повиновении человека, который не сможет или не захочет держаться твердо»?

Примечательно, что статья Г. Рожнова называется «Лицом к стене». Речь идет, конечно же, об осужденном, в которого целится палач. Палачи-профессионалы стреляют в затылок — традиция. В фашистских тюрьмах и концлагерях этот выстрел так и назывался: *Genickschuss*. Думаю, что и наш советский палач тоже профессионал. К важному государственному делу нельзя подпускать дилетантов.

Однако расстрел — дело не только государственное, но и кровавое. Известно, что пуля, пущенная в затылок, разбивает голову, расплескивая кровь и мозг. На ту самую стену, лицом к которой стоит жертва, на пол, а иногда и на палача, если он достаточно близко. Впрочем, инструкция, наверное, определяет нужную дистанцию, или же палач сам высчитывает ее, накапливая опыт в процессе трудовой деятельности.

Так вот — о крови и мозге: сам ли убийца смывает их с пола и стен, или для этой неквалифицированной работы привлекаются помощники? Работают ли они с палачом как бригада или же привлекаются со стороны? Если со стороны, то как оплачивается их труд: сдельно или повременно? Сам убийца, конечно же, получает жалованье, а вот премиальные за качественно и в срок выполненную работу — получает ли? И сколько стоит одна «преступная жизнь?»

Кстати, о качестве: каждая ли пуля смертельна? Доктор Луи, например, предупредил, что ловкость убийцы «находится в тесной зависимости от условий нравственных или физических». А вдруг осужденный будет не убит, а ранен? Кто это проверит, кто оценит проделанную работу?

Вопрос, конечно, риторический.

Смерть жертвы должен констатировать врач. А если осужденный все еще жив, то врач, вероятно, должен предложить убийце произвести повторный *Genickschuß*, после которого пациент (ах, незабвенный доктор Луи!) в медицинской помощи более не нуждается.

Мне трудно поверить, что такой врач может лечить кого-либо. Но в данном случае важно другое: как относятся к нему коллеги и больные — не «бастуют»? Наверное, нет, ведь такие медики анонимны, как и палачи.

Они живут среди нас. Наемные убийцы, которым все равно кого убивать. Врачи, им прислуживающие. Разработчики процедуры умерщвления и представители соответствующих ведомств, ее утвердившие. Они все — государственные служащие. Они нас воспитывают.

Не надо делать вид, что их нет. Абстрактного убийства не бывает. Это всегда конкретность. «Мне кажется, — писал В. В. Розанов, — ужас смертной казни удерживается оттого в качестве «особой привилегии государства», что хотя мы и «сознатель-

ные христиане», но на самом деле берем все целиком, в комке и не расчлняя, и вовсе не постигаем живым воображением делаемого. И на первую ступень понимания нас не пускают просто эти чужие, неверные слова и термины, которыми мы, как приличной капсулой, обволокли воющее и нестерпимое содержание».

Вот об этом самом «содержании» очень хотелось бы не знать многим сторонникам смертной казни. Так спокойнее. Но за «лукавыми словами» не спрячешь суть. Для кровавого дела нужен палач, кат, нужны его пособники. Им надлежит воспитывать общество в духе нравственности, проделывая все описанное выше. И никуда от них не уйти...

Средства не должны противоречить цели. А если противоречат, значит преследуется иная цель. Воспитание и перевоспитание следует начинать с азов. С утверждения абсолютной ценности человеческой жизни. С принципиального отказа от услуг убийцы. С осознания омерзительности убийства как такового...



Поют латыши

Вацлав ГАВЕЛ

ВЛАСТЬ БЕЗВЛАСТНЫХ

Отрывки из книги

Кто такой Вацлав Гавел, объяснять сегодня нет необходимости: все центральные газеты Советского Союза поместили на первых полосах биографию и портрет президента Чешской и Словацкой Федеративной Республики накануне его визита к нам, хотя еще за несколько месяцев до того даже упоминать это имя было запрещено. Перемены в наше время происходят столь стремительно, что порой и активные их участники не могут сразу с ними свыкнуться. Гавел в первые дни своего президентства признавался: время от времени у него возникает опасение, что все происходящее — только сон: сейчас он проснется и окажется, как это не раз уже бывало, на тюремных нарах.

Если даже мысль не поспевает за событиями, то печатный станок тем более. Небольшая книга «Власть безвластных» была написана в 1978 году, написана для того, чтобы объяснить, кто такие диссиденты-правозащитники и чего они добиваются. Разумеется, в этом отношении книга потеряла актуальность и на родине автора, и у нас. Но содержащиеся в ней рассуждения о сложившейся социальной ситуации и возможных путях выхода из нее, пожалуй, представляют для нас интерес и сейчас. К тому же, оценивая деятельность Гавела-президента, нелишне знать и Гавела-диссидента.

Нетрудно заметить некоторые сходные черты в рассуждениях Гавела и в нашей диссидентской литературе примерно того же времени. Взять хотя бы призыв Гавела жить «по правде» — и «жить не по лжи» А. Солженицына. И в этом нет ничего удивительного. Интересно, скорее, подметить различия. Скажем, обусловленный близостью к западноевропейской (главным образом, немецкой) философской и социологической традиции анализ, (впрочем, не следует забывать и о собственно чешских традициях, например о Я. Масарике). В связи с этим приятно отметить, что В. Гавел не слишком налегает на традиционню жгучий для нас вопрос «кто виноват?» (хотя виноватых и в его стране немало), а стремится разобраться в сути дела.

Надеемся, что в ближайшее время появится возможность познакомить читателей и с размышлениями Вацлава Гавела о том, что мы переживаем сейчас. Интересно, как он оценит точность прогнозов и рецептов, данных им в то время, когда он и не предполагал, что ему придется нести прямую ответственность за прогнозы и рецепты для своей страны, претворяя их в жизнь.

* Перевод сделан с немецкого издания 1980 г. (в Чехословакии книга, разумеется, не публиковалась).

V. Havel. Moc bezmocných. © V. Havel, 1978.

V. Havel. Versuch, in der Wahrheit zu leben: Von der Macht der Ohnmächtigen. — Reinbek: Rowohlt, 1980.

Политическую систему, в которой мы живем, обычно называют диктатурой, диктатурой политической бюрократии в условиях нивелированного общества.

Я опасюсь, что уже одно это обозначение — пусть даже его употребление обусловлено вполне понятными причинами — не столько объясняет, сколько скрывает истинный характер власти в этой системе. (...) Глубокие различия — в отношении характера власти — между нашей системой и тем, что мы обычно представляем себе, когда пользуемся понятием «диктатура», заставляют меня выбрать для обозначения этой системы особый термин, которым я и буду пользоваться в своем сочинении. Я называю ее *посттоталитарной* системой, хотя полностью сознаю, что это не совсем точное обозначение, но другого, более удачного, в моем распоряжении пока просто нет. Приставка «пост-» в этом термине, однако, вовсе не значит, будто система уже перестала быть тоталитарной, я хочу лишь сказать этим, что она тоталитарна совершенно иным образом, нежели «классические диктатуры», с которыми мы привыкли связывать понятие тоталитарности.

Директор овощного магазина поместил в витрине, среди лука и моркови, лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».

Почему он это сделал? Что он хотел сообщить этим окружающим? Может быть, он действительно настолько проникся идеей объединения пролетариев всех стран? Может быть, эта идея овладела им настолько, что он чувствует непреодолимую потребность ознакомить общественность со своими взглядами? Задумывался ли он когда-нибудь всерьез над тем, как смогло бы осуществиться это объединение и что бы это дало?

Думаю, можно смело предположить, что большинство работников овощных магазинов и не задумываются над тем, что написано на лозунгах в их витринах и уж тем более не выражают ими никаких своих воззрений. (...) Смысл (дословный) выставленного лозунга совершенно безразличен продавцу, и выставлен он в витрине не потому, что продавец хочет

сообщить с его помощью что-либо другим.

Разумеется, это не значит, будто его действие лишено мотивов и смысла и что его лозунг вообще ни для кого ничего не значит. Этот лозунг — знак. И знак этот имеет хотя и скрытое, но вполне определенное значение.

Заметим: если бы продавец обязали выставить лозунг «Я боюсь и потому готов беспрекословно повиноваться», он бы отнесся к его смыслу далеко не так безразлично. Хотя скрытый смысл выставленного в его витрине лозунга именно таков. Продавец, чего доброго, отказался бы украсить витрину таким недвусмысленным свидетельством своего унижения, это было бы ему обидно и стыдно. Разумеется — ведь он человек и не лишен чувства человеческого достоинства.

Чтобы избежать подобных осложнений, его выражение лояльности должно быть облечено в форму знака, который хотя бы внешне был связан с высокими материями бескорыстных убеждений. Нужно, чтобы он мог спросить себя: «А почему бы пролетариям всех стран действительно не соединиться?»

То есть знак помогает скрыть от человека «низкие» мотивы его послушания и «низкие» основания власти. Знак прячет их за фасадом «высоких материй».

Эти материи — идеология.

Идеология как иллюзорный способ обретения своего места в мире, дающая человеку видимость, будто он представляет собой самостоятельную, достойную и нравственную личность, предоставляя ему тем самым возможность не быть таковой; идеология как муляж неких «общественных» и не связанных с корыстными побуждениями ценностей, позволяющий человеку обманывать свою совесть, скрывать от других и от себя свое истинное положение и свой бесславный *modus vivendi*. Это продуктивное — и одновременно вроде бы достойное — оправдание по отношению к «верхам», «низам» и себе подобным, по отношению к людям и Богу. Это завеса, за которой человек может скрыть свой распад, свое опошление и приспособленчество. Это алиби, годное для всех, — от продавца, прикрывающего свой страх

потерять место мнимой поддержкой объединения пролетариев всех стран, и до высшего функционера, который может упрятать свой интерес сохранения власти в слова о своем служении делу рабочего класса.

Исходная функция идеологии — возможность алиби — давать человеку, одновременно являющемуся жертвой и столпом посттоталитарного общества, иллюзию, будто он находится в гармонии с человеческим и мировым порядком. Чем уже поле деятельности диктатуры и чем менее общество прошло через цивилизующее расслоение, тем более прямо и непосредственно выражается воля диктатора — то есть посредством более или менее «обнаженного» принуждения, без сложных «соотнесений с миром» или «самообоснований». Чем сложнее механизмы власти, чем более дифференцировано общество, которое они охватывают, чем продолжительнее исторические традиции их действия, тем большее значение приобретает включение отдельных людей, находящихся «вне», тем большее значение приобретает в поле деятельности механизма идеологическое «алиби» — как своего рода мост между властью и людьми, мост, по которому власть доходит до людей и по которому люди приходят к власти.

Уже поэтому идеология играет в посттоталитарном обществе такую важную роль.

Между целями посттоталитарного общества и целями жизни пролегал пропась. Жизнь по сути своей стремится к множественности, разноцветию, к независимому самоутверждению и самоорганизации, просто к осуществлению своей свободы. Посттоталитарная система, напротив, требует монолитного единства, однородности и подчинения. Жизнь постоянно стремится к созданию все новых «невероятных» структур, посттоталитарная система навязывает ей «типичные обстоятельства». Эта направленность системы показывает, что ее существенный принцип заключается в ориентации на саму себя, она стремится все основательнее и безусловнее «быть собой», то есть тем, чем

она является, постоянно расширяя радиус своего действия.

Идеология — как своего рода посредничающее «алиби» между системой и человеком — скрывает разрыв между ориентацией системы и ориентацией жизни; она создает видимость, будто потребности системы проистекают из жизненных потребностей. Это своеобразный иллюзорный мир, претендующий на то, что является реальностью.

Посттоталитарная система преследует человека своими требованиями на каждом шагу. Правда, делает она это в идеологических перчатках. Поэтому жизнь в такой системе признана лицемерием и лоялю: власть бюрократии именуется властью народа, рабочий класс эксплуатируется именем рабочего класса, полное унижение человека выдается за его решительное освобождение, полная изоляция от информации именуется доступностью информации, манипуляция органами власти провозглашается общественным контролем за этими органами, а произвол именуется поддержанием правопорядка; подавление культуры прославляется как ее развитие, экспансия имперского влияния именуется поддержкой угнетенных, отсутствие свободы слова — высшей формой свободы; выборный фарс выдается за высшую форму демократии, запрет на свободомыслие — за научное мировоззрение, оккупация — за братскую помощь. Властям приходится лгать, потому что они попали в капкан собственной лжи. Они фальсифицируют прошлое, настоящее и будущее. Они искажают статистические данные. Они делают вид, будто у них нет всемогущего и готового на все аппарата подавления, делают вид, будто соблюдают права человека, делают вид, будто никого не преследуют, делают вид, будто их не мучают страхи, делают вид, будто не делают вида.

Дело не в том, верит ли человек во всю эту мистификацию. Однако он должен вести себя так, будто верит, должен молчаливо соглашаться или по крайней мере ладить с теми, кто к этой мистификации прибегает.

И уже поэтому он должен жить, во лжи.

Дело не в том, соглашается ли он с ложью. Достаточно, если он принимает жизнь с ложью или во лжи. Уже тем самым он подтверждает систему, работает на нее — становится системой.

Если изначально идеология — своим действием «во вне» — помогает установлению власти, играя роль своеобразного алиби, то с того момента, как она становится общепринятой, она начинает действовать «внутри» — как составная часть власти: она начинает выполнять роль главного инструмента ритуальной коммуникации в аппарате власти.

Идеология как интерпретация действительности с точки зрения власти в конечном счете всегда подчинена интересам власти, поэтому в ее сущности заложена тенденция отрыва от действительности, порождения иллюзорного мира, ритуализации. Там, где идет публичное соперничество за власть, существует и публичный контроль за властью, есть, разумеется, и публичный контроль за тем, как осуществляется идеологическое оправдание власти. В таких условиях постоянно действуют определенные компенсирующие механизмы, которые не позволяют идеологии оторваться от действительности. В тоталитарных условиях подобные механизмы отсутствуют, ничто не препятствует все большему отрыву идеологии от действительности и превращению ее в то, чем она является в посттоталитарной системе: в иллюзорный мир, в чистый ритуал, в формализованный язык, не связанный содержательно с действительностью и представляющий набор ритуальных знаков, заменяющих реальность псевдореальностью.

Этот «диктат ритуала» ведет к явной анонимизации власти. Человек почти растворяется в ритуале, полностью отдается ему, и порой кажется, что сам ритуал выносит людей из темных закоулков на свет власти. Или — разве не характерно для посттоталитарной системы, что на всех

ступенях ее иерархии власти личность все больше вытесняется людьми безликими, марионетками, униформированными служащими ритуала и отработанными до автоматизма механизмами власти? (...)

Западные «советологи» нередко переоценивают роль отдельных людей в посттоталитарном обществе и не замечают, что руководящие деятели — несмотря на огромную власть, которую обеспечивают им централизованные структуры управления, — часто лишь слепые исполнители закономерных действий системы, которые они к тому же сами не осознают и не могут осознать. (...)

Необходимость постоянно защищаться ритуалом и ссылаться на него приводит к тому, что часто даже либеральные представители системы власти становятся, так сказать, «жертвами идеологии» — их взгляд не достигает «обнаженной» истины, ее заменяет, пусть и в самый последний момент, идеологическая псевдодействительность.

Можно, следовательно, сказать, что идеология в посттоталитарном обществе — как инструмент коммуникации внутри структуры власти, коммуникации, обеспечивающей этой системе внутреннюю связь, — важнее «физической» стороны власти, частично подчиняет ее себе и обеспечивает тем самым ее преемственность.

Она — один из столпов внешней стабильности этой системы.

Однако этот столп покоится на песке — на лжи. Поэтому он пригоден лишь до тех пор, покуда человек согласен жить во лжи.

В сущность посттоталитарного общества входит то, что оно втягивает в систему власти каждого человека. (...) Впутаны и повязаны действительно все — не только продавец овощного магазина, но и премьер-министр. Различие в положении на лестнице власти предполагает лишь разную степень впутанности. Продавец повязан значительно меньше, но он и почти не располагает властью,

премьер-министр, разумеется, может гораздо больше, но и степень его вовлеченности значительно больше. Несвободны оба, но по-разному... Конфликт между потребностями жизни и потребностями системы при этом не отражается в конфликте двух разных социальных групп: только поверхностный взгляд — да и то лишь приблизительно — позволяет разделить общество на господствующих и подчиненных. В этом заключается одно из важнейших отличий посттоталитарной системы от «классической» диктатуры, в которой линия этого конфликта может быть социально локализована. В посттоталитарной системе эта линия *de facto* проходит через каждого человека, потому что каждый по-своему является и жертвой, и опорой этой системы. (...)

Это стало возможно только потому, что современный человек явно несет в себе некоторые задатки для участия в создании такой системы или, по крайней мере, для приспособления к ней. В нем явно есть что-то, на что эта система опирается, что она отражает и чему отвечает; нечто, парализующее любую попытку восстания его «лучшего Я». Человек может быть принужден к жизни во лжи только потому, что он в состоянии жить во лжи.

Разумеется, каждый человек несет в себе жизнь с ее существенными потребностями, у каждого есть определенное стремление к человеческому достоинству, моральной цельности, свободному познанию бытия, к возможности возвыситься над «существующими обстоятельствами». В то же время каждый в той или иной степени способен согласиться на «жизнь во лжи», каждый поддается на своего рода служение деловитости и целесообразности, в каждом заключена частица готовности раствориться, надев анонимную маску, в потоке, лишь внешне напоминающем настоящую жизнь.

Проблема, таким образом, заключается уже вовсе не в двуличности.

Дело обстоит гораздо хуже — под угрозой оказывается личность как таковая.

Очень огрубленно можно было бы сказать, что посттоталитарная система возрастает на почве исторической встречи диктатуры и общества по-

требления. (...) Разве, в конце концов, жизнь в посттоталитарном обществе — не карикатура, не шарж на современную жизнь вообще? Разве мы — хотя и находясь по внешним показателям социально-экономического развития далеко позади — не служим своего рода предостережением Западу, поскольку в нашем обществе его скрытые тенденции оказываются обнаженными?

«Жизнь по правде» обладает в посттоталитарном обществе не только экзистенциальным измерением (она возвращает человеку его утраченную сущность), не только познавательным (она показывает действительность такой, какова она на самом деле), не только моральным (она служит примером) измерением. Она обладает, ко всему прочему, еще и отчетливым политическим измерением.

Поскольку «жизнь во лжи» является основной опорой системы, не удивительно, что «жизнь по правде» оказывается основной угрозой системе. Поэтому и преследуют ее более жестоко, чем что-либо другое.

Правда — в самом широком смысле слова — обладает в посттоталитарном обществе особой силой, которой она лишена в других условиях: в гораздо большей степени — и прежде всего иным образом — она играет роль фактора власти, более того, политической силы.

Саван «жизни во лжи» скроен из странной материи: пока он плотно покрывает все общество, он кажется непробиваемым, словно гранитная стена. Но стоит кому-нибудь прорвать его в одном-единственном месте, стоит одному-единственному человеку крикнуть: «А король-то голый!», стоит только одному из участников перестать соблюдать правила игры, так что становится ясно, что это игра, — все сразу меняется, и завеса оказывается словно бумага, разлетающаяся от удара на клочки.

В обществах, где господствует пост-

тоталитарная система, любая политическая жизнь в традиционном смысле слова ликвидирована. Люди лишены возможности публичного самовыражения, не говоря уже о политической организации. Образующийся в результате вакуум заполняется идеологическим ритуалом. Само собой разумеется, что интерес людей к политическим проблемам в этой ситуации снижается. Независимое мышление и политическая деятельность — если таковые вообще существуют в каком-либо виде — представляются большинству ирреальными и абстрактными, как игра, лишенная практического смысла, безнадежно далеко отстоящая от их повседневных забот. Она кажется, пожалуй, привлекательной, но совершенно излишней, потому что, с одной стороны, утопична, а с другой — чрезвычайно опасна, поскольку всякий шаг в этом направлении подвергается особенно суровым преследованиям властей.

Посттоталитарная система ведет генеральное наступление на поработанного ею человека: он одинок, отвержен и беспомощен. Поэтому вполне естественно, что все «диссидентские» движения носят явный оборонительный характер: они защищают человека и подлинные жизненные потребности от потребностей системы.

Каждое общество, разумеется, должно быть каким-либо образом организовано. Но для того, чтобы его организация служила человеку, а не наоборот, необходимо в первую очередь сделать людей более свободными, открыв тем самым для них возможность осмысленной самоорганизации. Извращенность обратного подхода, при котором людей сначала каким-либо образом организуют (делает это кто-либо, кто всегда лучше знает, «что нужно народу»), подхода, якобы освобождающего их, мы слишком хорошо испытали на себе.

Защита человека «диссидентски-

ми» движениями в странах советского блока прежде всего принимает форму защиты прав человека и гражданских прав, закрепленных в многочисленных официальных документах (Всеобщая декларация прав человека и др.). Эти движения защищают людей, преследуемых за попытку осуществления этих прав; своими действиями они реализуют эти права...

Своеобразие посттоталитарных условий, в которых нет места «нормальной» политике и не видно реальных шансов на значительные политические перемены, несет в себе и положительный момент: эти условия заставляют нас анализировать ситуацию на фоне более глубоких закономерностей и размышлять над нашим будущим в контексте долгосрочных прогнозов мирового развития, поскольку наша судьба — часть этого развития. Так как жизнь постоянно учит нас, что конфронтация человека и системы затрагивает гораздо более глубокие слои, чем уровень непосредственной политики, наши размышления неизбежно приобретают соответствующую окраску.

Наше внимание неизбежно обращается на принципиальную проблему — кризис современной технической цивилизации в целом. На кризис, который Хайдеггер характеризует как беспомощность человека перед лицом планетарной мощи техники.

Перспектива, на которую указывают различные мыслители и общественные движения, перспектива, от которой они ожидают выхода из создавшейся ситуации, может быть в самом общем виде охарактеризована как «экзистенциальная революция». Я разделяю этот подход и разделяю взгляды, согласно которым выход заключается не в каком-либо «техническом ухищрении», то есть не в проекте только философских, только социальных или только политических преобразований. «Экзистенциальная революция» может и должна охватить все эти области; ее собственным полем действия может быть только человеческое бытие в са-

мом глубоком смысле этого слова. Только начавшись в этой сфере, она может перейти в какое-либо общее, нравственное — в конечном же итоге, разумеется, и политическое — обновление общества.

Посттоталитарное общество — лишь один из ликов всеобщей неспособности современного человека справиться с ситуацией, которую он сам породил, лик особенно драматичный и потому более явно обнажающий причины всего этого. «Самообслуживание» нашей системы — лишь специфический и крайний вариант всеобщего процесса «самообслуживания» технической цивилизации. Кризис человеческого бытия, отраженный этой системой, представляет собой лишь один из вариантов всеобщего кризиса современного человека.

Перспектива «экзистенциальной революции» — в ее следствиях — представляет собой в первую очередь перспективу нравственного преобразования общества, то есть радикального обновления непосредственного отношения человека к тому, что я именую «человеческим порядком» (и что не может быть заменено никаким политическим порядком). Новый опыт бытия, обновление связи человека со вселенной, по-новому понятая «высокая ответственность», вновь найденное внутреннее отношение к ближнему и к человеческому сообществу — таково направление действий, о котором идет речь.

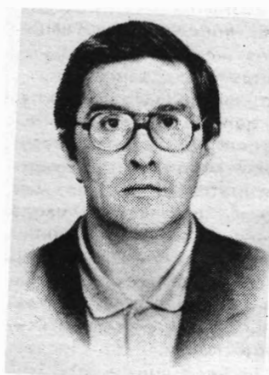
А политические следствия?

Наиболее явно они могли бы выразиться в создании таких структур, которые зависят не столько от какой-либо формализации политических отношений и гарантий, сколько от нового духа, что значит в первую очередь от их человеческого содержания. Речь идет о реабилитации таких

ценностей, как доверие, открытость, ответственность, солидарность, любовь. Я верю в структуры, ориентированные не на «техническую» сторону реализации власти, а на смысл ее реализации... Это могут и должны быть открытые, динамичные и малые структуры; ведь возможность действия таких «человеческих связей», как личное доверие и личная ответственность ограничены определенными масштабами. Это должны быть структуры, которые по своей сущности не ограничивают возникновения других структур, всякая концентрация власти должна быть им чужда. Речь идет о структурах, являющихся не органами или институтами, а сообществами.

Политическая, как и хозяйственная, жизнь должна основываться на пестром и активном взаимодействии таких динамично возникающих и распадающихся организмов, живущих в первую очередь за счет своего действительного смысла и соединяемых человеческими отношениями. Что касается экономики, то я верю в принцип самоуправления, который, пожалуй, единственно может дать то, о чем мечтают все теоретики социализма, то есть действительное (а не только формальное) участие трудящихся в управлении хозяйством и чувство реальной ответственности за результаты коллективного труда. Принцип контроля и дисциплины должен быть замещен спонтанным человеческим самоконтролем и спонтанной самодисциплиной.

Это представление о системных следствиях «экзистенциальной революции» явно выходит за рамки классической парламентской демократии... Поскольку я в своих размышлениях ввел понятие «посттоталитарной системы», то только что обрисованные представления можно было бы обозначить как перспективу «постдемократической» системы.



Александр Анатольевич ИЛЮШИН (род. 12.11.1940, Москва) — филолог, поэт и переводчик. Профессор МГУ, заместитель председателя Дантовской комиссии АН СССР. В 1985 г. защитил докторскую диссертацию по теме «Русская силлабика». Автор книг: «Поэзия декабриста Г. С. Батенькова» [М.: Изд-во Моск. ун-та, 1978] и «Русское стихосложение» [М.: Высш. шк., 1988]. В 1980 году завершил работу над комментированным переводом Данте: впервые эндекасиллаб «Божественной Комедии» был от начала и до конца передан не традиционным 5-стопным ямбом, а силлабическим 11-сложником с цезурой после 5-го слога [см.: Данте Алигьери. Божественная Комедия. М.: Просвещение, 1988; полностью перевод будет издан в 1991 г.]. Всего А. А. Илюшин опубликовал более ста работ. В кругу его научных интересов: поэтика и история русской литературы, теория и история стиха, вопросы стихотворного перевода, польская и итальянская литература, русско-украинские, русско-немецкие и русско-испанские связи.

О. «К.С.» Л. Т.: ЗАГАДКИ БУКВ

(К СТОЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ПОВЕСТИ)

Позднышев слушает бетховенскую сонату в исполнении своей жены и Трухачевского. Их музыкальный дуэт может вскоре завершиться амурным. Придется сыграть роль обманутого мужа...

За два года до первой публикации «Крейцеровой сонаты», весной 1888 г., в Москве, в хамовническом доме Толстых, исполнялась давно знакомая Толстому бетховенская соната — Софьей Андреевной (партия рояли) и скрипачом Лясоттой. Лев Николаевич был взволнован, он тогда впервые как бы уловил некую связь между прослушанной сонатой и создаваемой им повестью о ревнивом муже, убившем жену. Вот он сидит и слушает, словно Позднышев, а между тем графиня и музыкант... понятно, что тут можно навообразать, соотнося реальную, житейскую ситуацию с сюжетом повести. Лясотта — подозрительная фамилия, дразнящая, чем-то нехорошая. Чем же? Загадка. Загадка букв.

Лясотта — Толстая: какова парочка! Изумительно совпадение букв, из которых складываются эти фамилии, — полная, абсолютная слиянность, соблазнительнейшая анаграмма: *А, Л, О, С, Т, Т, Я*, если расположить их в алфавитном порядке. Конечно, такое случается очень редко.

ТО	Л	СТА
ТОСТА	И	
ТОИ	С	ТАИ
Т	О	ЛСТАИ
ТОИС	Т	АИ
	Т	ОЛСТАИ
ТОИСТ	А	И

Толстой — Толстая: уже не то! Буквы в фамилиях супругов совпадают не полностью из-за разных концовок. Пианистку же и скрипача сливает воедино музыка, «любовь» и поразительное сходство фамилий. В самом деле, все думают, что это графиня Толстая, жена графа Толстого, а она Лясотта — буква в букву. Тайная жена музыканта. В повести буквы поведут себя гораздо пристойнее. Он — Трухачевский, она — Позднышева: совпадает лишь суффикс (субморф) *-ев-*, и, кроме него, вовсе нет общих букв.

Музыкальный дуэт *Толстая — Лясотта* в результате всего этого отдает двусмысленностью и входит в творческую историю «Крейцеровой сонаты». Но читатель, знакомый с биографией Толстого, резонно заметит: вот уж не к Лясотте мог Лев Николаевич ревновать свою жену в действительности! Правильно. В действительности — не к Лясотте. Но речь идет не о действительности, а

о писательском воображении, об артистическом перевоплощении, когда самого себя представляешь героем повести, свою верную жену — героиней, ничего не подозревающего гостя — ее любовником . . .

Возможно еще одно сомнение: а вдруг Лев Николаевич вообще не заметил однобуквенности фамилий Ляссота и Толстая? Но едва ли не заметил. Он был восприимчив и внимателен к буквам и, в частности, склонен доверять им тайное, сокровенное, прибегая к буквенным шифрам, когда что-то мешает дать открытый текст. С этой особенностью связан еще один эпизод в творческой истории «Крейцеровой сонаты». Известно авторское Послесловие к повести. Лев Львович Толстой, сын писателя, в книге «В Ясной Поляне. Правда об отце и его жизни» (Прага, 1923) свидетельствует, что сверх этого отец придумал Послесловие к Послесловию. Это всего лишь одна вопросительная фраза, донныне остающаяся непрочтенной, которую писатель зашифровал и шифр вслух сообщил сыну однажды утром, «тихо и быстро» проговорив: «Как может мужчина в. с. ч. к. о. м. в. д. ж. и. к. о. м.?».

Похожим образом в «Анне Карениной» Левин выяснял отношения с Кити: писал начальные буквы слов, а она угадывала, потом сама писала и он угадывал. Похожим образом Лев Николаевич объяснялся в любви со своей невестой — С. А. Берс. Прием был давно и неоднократно апробирован, но сын Левушка удивился. Он засмеялся бы, но не посмел, ибо отец держался серьезно, как человек, сделавший новое открытие. Что же было дальше? Не только понять, но и просто запомнить — с голоса — набор произнесенных звуков едва ли возможно. Наверное, сын попросил отца объяснить, в чем дело, или хотя бы повторить, продиктовать для записи эту странную фразу. Однако в воспоминаниях своих Лев Львович ничего об этом не пишет и никакой дешифровки не дает: гадайте, мол, сами.

Приступая к отгадыванию, необходимо вникнуть в технику и стиль подобно шифрованию. Примечательно, что в переписке мелом по столу у Левина и Кити нет ни одного (!) имени — ни существительного, ни прилагательного: только глаголы, местоимения,

наречия, союзы и союзные слова, частицы. Это настраивает на определенный лад. Видишь литеру *н* — и сознаешь, что она с большей вероятностью означает *не, ничего, никогда, чем надежда, нежный*; и прочее в таком же духе. Это полезно иметь в виду, хотя ясно, что в вопросительной фразе Послесловия к Послесловию данный принцип воплощен не полностью: в ней есть существительное *мужчина*, за ним наверняка потянутся *женщина*, так что *ж* в ряду букв — это, видимо, она, а не какое-нибудь там служебное слово, частица. Впрочем, абсолютное господство глаголов и местоимений в «Анне Карениной» объясняется диалогичностью речи: Левин спрашивает, а Кити отвечает. Послесловие же к Послесловию — это монолог Толстого, и потому появление в нем имен существительных вполне закономерно.

А как отнестись к знакам препинания между буквами? Там (в «Анне Карениной») запятые, здесь точки. Думается, мы вправе предположить, что это знаки разделительные, а не сокращающие, т. е. отделяют одну литеру от другой, а не указывают на то, что слово недописано. Из этого следует, что «я.» может быть просто местоимением *я*, а «и.» — союзом *и*. Этот момент окажется немаловажным в дешифровке.

Левин подготовил нас к тому, что выявляемая фраза вовсе не должна быть образцом изящного слога. Сам он не то чтобы совсем уж косноязычен, но словесно неуклюж. Так, из его букв *к, в, м, о и т. д.* получилось следующее: «Когда вы мне ответили: этого не может быть, значило ли это, что никогда, или тогда?» Толстому вообще чужд грациозный синтаксис, он любит живое, и живое видится ему неловким, нескладным, неправильным. В этом — характерность его стиля.

Отгадывая фразу Послесловия к Послесловию, необходимо вчувствоваться в текст Послесловия, в идеи и тон автора «Крейцеровой сонаты». Идеи хорошо известны, нет смысла их пересказывать. Тон торжественный, проповеднический. Изобилие риторических повторов: «И я полагаю . . . И я полагаю . . . И я полагаю . . .»; «Что делать . . .? Что де-

лать...? Что делать...?» В буквенном ряду фразы, которую предстоит дешифровать, тоже повторы: ...к. о. м. ...к. о. м. Естественно предположить, что здесь за повторами букв скрываются повторы слов.

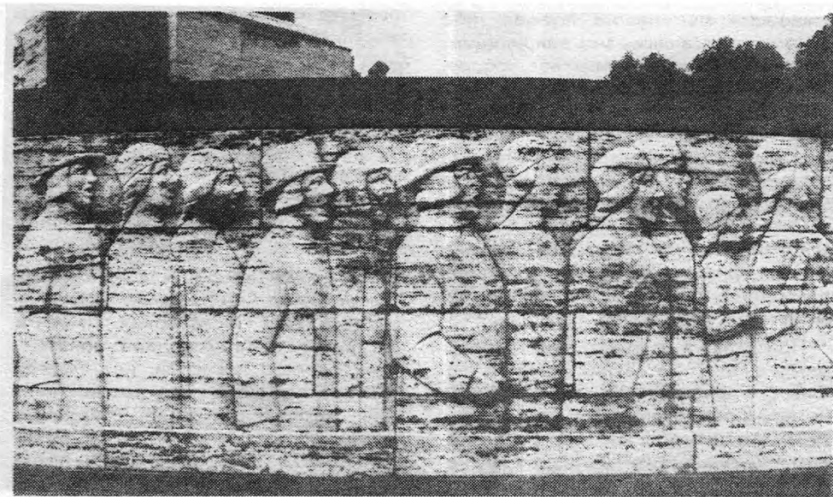
Настала пора сообщить предлагаемую дешифровку. Вот она: «Как может мужчина в<ернуть> с<ебе> ч<истоту>, к<ак> о<н> м<ожет> в<ернуть> д<евственность> ж<енщине> и к<ак> о<на> м<ожет>?»

Кажущаяся недоговоренность: ...и как она, женщина, может вернуть девственность себе и чистоту мужчине, своему мужу? Предполагаемый ответ: для этого нужно неоступно следовать Христову идеалу, и тогда нечистые, плотские отношения мужа и жены заменятся чистыми отношениями брата и сестры. Это корреспондирует с раздумьями Толстого в Послесловии к «Крейцеровой сонате» о задачах, стоящих перед мужчиной и женщиной, которые живут в браке. В Послесловии к Послесловию рождается христианизированная мифологема возвращенной девственности, в чем-то, мне кажется, созвучная христианской мифологеме непорочного зачатия (парадоксальная оксюморонность ситуации).

Ну и как: ручается ли автор статьи за правильность своей дешифровки? Вообще-то верить себе труднее, чем может казаться. Решение долго ускользало. «Как может муж-

чина в. с. ч. ...?» Сразу в букве ч подозревается «что» или «чтобы». Ощущаешь, что почти наверняка это так, а до этого, стало быть, необходим глагол в форме инфинитива, и пробуешь варианты типа «как может мужчина внушить себе, что...?» И все варианты лопаются, как мыльные пузыри, ибо тогда при любом раскладе в намечающуюся конструкцию никак не вмещается совершенно неизбежная «женщина» вкупе с повторами «к. о. м. ...к. о. м.». И приходится искать другое слово на букву ч. «Человек», «человеческое» не годятся по иным причинам. «Честь», «честный»? Нет, честь — «дворянский предрассудок», за нее на дуэлях дерутся, это не для позднего Толстого. Чистота и целомудрие — вот главная ценность: «...вновь стать чистым...», «...вернуть себе чистоту...». Последний вариант предпочтительнее, поскольку усиливается повтор: «вернуть себе» и «вернуть женщине».

... Можно убедить себя в своей правоте, но, пожалуй, с одной оговоркой. Все верно лишь в том случае, если ничего не напутал Лев Львович в своих воспоминаниях. Ошибись он хотя бы в одной букве — сразу потеряется найденное, потеряет свой смысл и право называться даже гипотезой, не говоря уже о чем-то большем. Так что себе придется верить не больше, чем ему, Льву Львовичу.



Вадим РУДНЕВ

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО СТРУКТУРАЛИЗМА

Если бы эта книга вышла еще лет пять назад, на нее, возможно, следовало бы написать несколько иную рецензию: подчеркнуть мужество издателей, эрудицию комментатора и, главное, непреходящее значение идей Ролана Барта.

Впрочем, пять лет назад никто из такой рецензии не опубликовал.

Теперь не то . . .

{ . . . }

Лежащая передо мной книга, внимательно мной прочитанная и проанализированная, вызывает у меня двойственное впечатление.

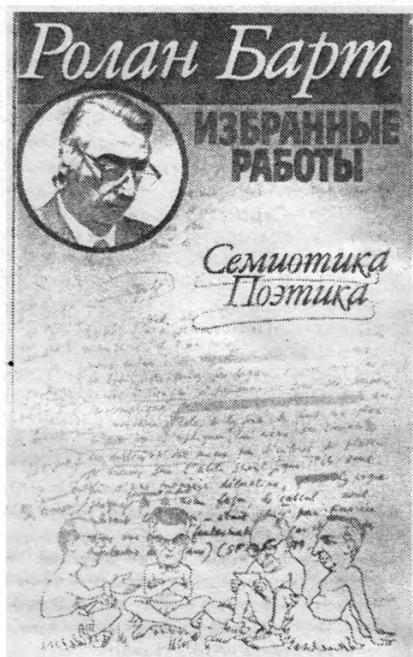
С одной стороны, она охватывает творчество одного из популярнейших в XX веке авторов, писавших о семиотике применительно к литературе и другим «вторичным моделирующим системам». Она прослеживает более 20 лет его творчества, начиная с заметки «Литература и Мину Друэ», опубликованной впервые в январе 1956 г. в газете «Lettres nouvelles», и заканчивая «Лекцией», прочитанной им 7 января 1977 г. при вступлении в должность заведующего кафедрой литературной семиологии в Коллеж де Франс (то есть за три года до смерти). Книга охватывает все три периода творчества Барта. Первый — предструктуралистский («Из книги "Мифологии"»), второй — структуралистский («Из книги "О Расине"»),

статьи «Структурализм как деятельность», «Литература и значение», «Критика и истина» и другие) и третий — постструктуралистский («Смерть автора», «От произведения к тексту», «Текстовый анализ одной новеллы Эдгара По»).

С другой стороны, уже сам подбор материалов не во всем представляется бесспорным. Так, в настоящем томе не вошли хотя бы фрагменты книг зрелого Барта «Система моды» и «S/Z», но при этом вошла статья «Критика и истина», носящая во многом злободневный, полемический характер, а главное, за два года до появления рецензируемого тома вышедшая с незначительными сокращениями в книге «Зарубежная эстетика и теория литературы XIX—XX вв.: Трактаты, статьи, эссе / Сост., общ. ред. Г. К. Косикова» (Изд-во Моск. ун-та) тиражом, превышающим тираж настоящего сборника почти в два раза — 17 800 экземпляров против 9600 (заметим, что статья занимает более 60 с.).

Но основной недостаток рецензируемого труда заключается, по моему мнению, в том, что книга, представляющая собой прежде всего историко-научную ценность, преподносится как совокупность исследований современного ученого. Это сказывается и на вступительном похвальном слове Барту, и на весьма редуцированном комментарии: многие давно устаревшие положения Барта не соотношены с современной наукой, многие его фактические ошибки

Барт Ролан. Избранные работы: Семиотика; Поэтика / Пер. с фр.; Сост., общ. ред. и вступ. ст. Г. К. Косикова. — М.: Прогресс, 1989. — 615 с.



не замечены, место и значение Барта в европейской культуре третьей четверти XX века не определено.

Между тем сам Ролан Барт в своей «Лекции», увенчивающей книгу, дает себе нелицеприятную и вполне адекватную оценку, говоря о том, что никогда не был академическим ученым и создал только ряд эссе по семиологии. В этой лекции, являющейся, как мне кажется, лучшей публикацией в рассматриваемом томе, Барт, как нигде, искренен и прост. Говоря о занимающих его проблемах — о власти языка, о свободе, возможной только вне рамок языка, и о том, что литература есть спасительное плутовство с языком, позволяющее ускользнуть из-под его власти, — Барт не рядится, как это часто бывало в его предшествующих работах, в тогу семиотика — авгура. Эта его неожиданная скромность, обусловленная, конечно, жанром вступительной лекции и радостью самого события, — ибо, как верно замечает Барт, «честь бывает и незаслуженной, радость же никогда», — позволяет взглянуть на его ранние работы более трезво и бес-

пристрастно. Заключительная, можно сказать, почти предсмертная исповедь во многом отпускает Барту грехи его молодости. Во всяком случае, я бы посоветовал тем, кто еще не читал эту книгу, начать ее чтение с конца.

Ролан Барт относится к тому типу пишущих о литературе, к которому в русской традиции принадлежал, например, Виктор Борисович Шкловский. У этих авторов «легкость в мыслях необыкновенная» искупается яркостью (во всяком случае, должна искупаться), неожиданностью сопоставлений, блеском. Если попытаться в двух словах охарактеризовать методологию раннего Барта, то ее можно назвать в высшей степени эклектичной. Она представляет собой гремучую смесь марксизма по-французски, расхожего сартровского экзистенциализма, школьного психоанализа и поверхностно усвоенной структурной лингвистики Ф. де Соссюра и Л. Ельслева. В дальнейшем Барт под влиянием работ В. Я. Проппа, К. Леви-Строса и Р. Якобсона вырабатывает более органичный подход к литературе, но формула «марксизм — структурализм — психоанализ» преследует его на протяжении всего творчества (почти как православие, самодержавие и народность). Поздний Барт попадает под влияние своих современников и учеников: философа Жака Деррида, культуролога Мишеля Фуко, психоаналитика Жака Лакана и семиотиков Цветана Тодорова и Юлии Кристевой. Барт никогда (и, кажется, слава Богу!) не тяготел к логико-философским студиям. Ему всегда были чужды любые проявления философского академизма, будь то ранний Витгенштейн или классический Хайдеггер. Он, вероятно, прочитал кое-кого из оксфордцев как более доступных, но, как мы увидим в дальнейшем, весьма невнимательно. В творчестве Барта, очень французском по духу, совершенно не чувствуется следов изучения его великого соотечественника Люсьена Леви-Брюля, знакомство с которым очень пригодилось бы Барту, например при разборе современного ему мифологического мышления, которым открывается рецензируемый том.

Барт пишет: «Миф — это *слово, высказывание*», но его собственный

анализ противоречит этой явно ложной посылке. Миф — не слово, не высказывание, скорее — некое состояние сознания, функция которого заключается в том, чтобы нейтрализовать противоречие между двумя высказываниями, имеющими противоположные истинностные значения — между правдой и ложью, духом и материей, прекрасным и безобразным, жизнью и смертью. Именно в таком понимании сам Барт анализирует, например, миф о Мину Друэ, девочке-поэтессе, споры о реальности авторства стихов которой породили целое расследование. При этом важно не то, действительно ли Мину Друэ писала стихи или это за нее делал взрослый мистификатор, а то, что поэзия Мину Друэ в буржуазном сознании является неким стереотипом поэзии ребенка, мифологическим именно потому, что безразлично, отражает или нет этот феномен истинное положение вещей.

В этом плане никак нельзя согласиться со следующим тезисом Барта, будто миф — это семиологическая система. Если рассматривать миф исторически, то это досемиотическая стадия мышления, когда между обозначающим и обозначаемым еще не существовало четкой границы (см. труды Леви-Брюля). Если же рассматривать миф как феномен современного сознания, то опять-таки, будучи интенцией, а не высказыванием, он находится за пределами знаковых систем.

Впрочем, я сейчас проделываю чужую работу: именно такого рода соотнесение взглядов Барта с предшествующей и последующей традицией должен был провести комментатор: соотнести взгляды Барта со взглядами Дж. Фрззера и Л. Леви-Брюля, К. Леви-Строса и М. Элиаде, А. М. Пятигорского и Ю. М. Лотмана. Только в контексте прошлых, современных и будущих концепций работы ученого (хотя Барта с трудом можно назвать этим именем) приобретают свое место в истории культуры. В противном случае они просто висают в воздухе и чтение их вызывает улыбку.

Исследование о Расине можно назвать наиболее «русской» книгой Барта. Чтение Проппа и Бахтина (разумеется, обогащенное марксистскими и психоаналитическими терминами — без этого Барт никак не может) видно

при поверхностном взгляде почти на каждую страницу этой книги. Стремление свести все одиннадцать трагедий Расина к одной — инвариантной — явным образом восходит к «Морфологии сказки» В. Я. Проппа, а также соотносится с модной тогда во Франции структурной нарратологией (лат. *narratio* — повествование) (К. Леви-Строс, А. Греймас, К. Бремон; в комментарии, занимающем ровно страницу, об этом, конечно, ни слова). Источник рассуждений о порограничных пространствах, о Передней и Двери («Передняя является местом слова: здесь трагический герой, беспомощно блуждающий между буквой и смыслом вещей, выговаривает свои побуждения»), тоже совершенно прозрачен: это «Проблемы поэтики Достоевского» М. М. Бахтина. Позднее сходными проблемами на материале Достоевского занимался В. Н. Топоров.

Вообще говоря, самая сильная сторона раннего Барта — это его афористичность. В его ярких максимах иногда проглядывает то, что в других местах заслонено наивностью, необразованностью и эссеизмом, а именно — игра острого (но не глубокого) ума, изящество, порой — нетривиальный взгляд на вещи. Приведем эти примеры, чтобы читатель не упрекнул нас в необъективности: «Миф есть *похищенное и возвращенное слово*. Только возвращенное слово оказывается не тем, которое было похищено»;

«Поэзия нарушает спокойствие языка»;

«Буржуазию можно определить (<...> как общественный класс, который не желает быть названным»;

«Для писателя вопрос, *почему мир таков... полностью поглощается вопросом, как о нем писать?*»;

«Крик нельзя подвергать обработке — иначе кончится тем, что главным в сообщении станет не сам крик, а его обработка»;

«В трагедии никогда не умирают, ибо всегда говорят»;

«Идеальное обличье расиновских сумерек — залитые слезами глаза, обращенные к небу (символ поруганной невинности)»;

«Трагедийная смерть не страшная, чаще всего это пустая грамматическая аллегория»;

«Пишешь, чтобы тебя любили, но

оттого, что тебя читают, любимым себя не чувствуешь».

Невольно вспоминаются знаменитые «Афоризмы» Г. К. Лихтенберга, но ведь Барт претендует на нечто несопоставимо большее. Конечно, Барт прежде всего критик, журналист, сотрудник модернистского журнала «Tel Quel», на это необходимо делать поправку. Поэтому его статьи и книги злободневны в особом, не политическом, а культурологическом смысле, они отражают научную моду, дух времени. Кстати, русскому читателю знаком и более серьезный Барт: «Нулевая степень письма», которая, как бы к ней ни относиться, явилась очень важной вехой в развитии европейского структурализма (эта статья опубликована в антологии «Семиотика», вышедшей в издательстве «Радуга» в 1983 г.), далее — «Основы семиологии» (Структурализм: «за» и «против». — М.: Прогресс, 1975), которые служат хорошим пособием по структурной поэтике для тех, кому лень читать Соссюра и Ельмслева.

Впрочем, что такое вообще структурализм в литературоведении? «Понаблюдайте, — пишет Барт в статье «Структурализм как деятельность»», — кто употребляет выражения *означающее* и *означаемое*, *синхрония* и *диахрония*, и вы поймете, сложилось ли у этих людей структуралистское видение». Да, мы наблюдаем, но кто ж теперь не употребляет таких слов! (Как говорил Антон Рубинштейн Чайковскому: в России только извозчики не пишут романсов.)

Структурализм — это скорее мечта о философском камне, мечта обленившегося лингвиста или историка. Литературоведческий структурализм — иллюзия «шестидесятников», которые, вдохновленные кибернетикой и машинным переводом, вообразили, что во всем на свете можно разобратся. Потому они решили, что, поскольку разобратся невозможно почти ни в чем, надо саму эту невозможность объявить главной проблемой. Так родился постструктурализм.

На деле и то и другое оказывалось когда более, а когда (и гораздо чаще) менее удачным подражанием лингвистике. Возьмем, к примеру, проводимое Бартом глу-

бокомысленное разграничение между структурным и текстовым анализом (то есть между структурализмом и постструктурализмом). Классический структурализм рассматривал текст как некое замкнутое целое. Это соответствовало моделям структурной лингвистики — иерархичность, системность, невыводимость целого из его частей. После второй мировой войны лингвистическая парадигма изменилась, возникли новые отрасли лингвистики: лингвистика текста, изучавшая сверхфразовые единства; лингвистика устной речи, занявшаяся расшифровкой магнитофонных записей; теория речевых актов, учившая, как производить действия при помощи слов. И вот понятие текста кардинально переменялось; структура таинственным образом куда-то исчезла. Лингвистика текста разрушила представление о предложении как максимальной единице лингвистического анализа, лингвистика устной речи превратила речевую деятельность в нелинейную, необратимую и открытую, теория речевых актов размыла границы между истинными и ложными высказываниями.

В результате появилось загадочное противопоставление Произведения и Текста. Произведение (которым занимался классический структурализм) — это совсем не то, что Текст (которым занимается текстовый анализ). Текст — это понятие, долженствующее быть чем-то совершенно невразумительным для простого смертного, это сама деятельность по производству текста, где читатель одновременно является пишущим. Цель текстового анализа — «помыслить, вообразить, пережить множественность тем, открытость процесса означивания». Барт говорит, что «текст ощущается только в процессе работы производства текста». При этом он ссылается на роль исполнителя в алеаторической музыке, где играющий действительно отчасти берет на себя функцию композитора, так как в нотации даны лишь основные контуры произведения и многое может варьироваться. Но в литературе, даже в самой что ни на есть авангардистской (то есть в современной Барту прозе), такого рода эксперименты всегда оставались на периферии и не могли поколебать

границ текста. Действительно, Кортасар в «Игре в классики» «перепутал» все главы, и читателю предлагается на выбор: читать ли все подряд, в «перепутанном» виде, или воспользоваться авторским ключом, приложенным в начале романа, — но границы текста все равно непоколебимы. Ведь Кортасар не предлагает читателям дописывать за него роман или как им вздумается вершить судьбы персонажей. Говорить об изменчивости текста можно только в плане прагматики, имея в виду различие восприятия одного и того же текста разными сознаниями, эпохами, культурами. Но до сих пор такого рода «исследования» не выходят за рамки общих разговоров. Когда же дело доходит до конкретного анализа (и это черта структурализма в целом), то начинается опять все та же электическая неразбериха. Так, когда после рассуждений о Тексте с большой буквы в статье «Текстовый анализ одной новеллы Эдгара По» Барт переходит к самой новелле, вновь появляются неизменные марксистские словечки («потребительная стоимость рассказа», «превращение рассказа в товар»), опять вульгарный психоанализ («предплощадка бессознательного», «вытеснение символического дополнения»), здесь же — произвольно употребляемая терминология классической структурной поэтики. Так, понятие фатической функции Барт, ссылаясь на Якобсона, понимает при этом совершенно не в духе «Linguistics and Poetics». У Якобсона сказано: «Фатическая функция осуществляется посредством обмена ритуальными формулами, единственная цель которых — поддержание коммуникаций». И далее приводится замечательный пример из Дороти Паркер:

« — Ладно! — сказал юноша.

— Ладно! — сказала она.

— Ладно, стало быть так, — сказал он.

— Стало быть так, — сказала она, — почему же нет.

— Я думаю, стало быть так, — сказал он. — То-то! Так, стало быть.

— Ладно, — сказала она.

— Ладно, — сказал он, — ладно».

Фрагмент, который анализирует Барт, никак не выражает фатической функции языка: «Вкратце (почему-то именно слово вкратце показало

лось Барту фатическим. — В. Р.) они (факты. — В. Р.) сводятся к следующему. В течение последних лет мое внимание не раз бывало привлечено к вопросам магнетизма, а около девяти месяцев назад меня внезапно поразила мысль, что во всех до сих пор проведенных опытах имелось одно весьма важное и необъяснимое упущение».

Пользуясь терминологией теории речевых актов, Барт вскользь замечает, что-де перформативные глаголы* — явление чрезвычайно редкое в языке. Между тем Джон Остин в своей основополагающей книге «How to Do Things with words», которую Барт не мог не читать (ибо, если он ее не читал, то, значит, он вообще ничего не читал по этой проблеме, а был знаком с ней из вторых рук или понаслышке) рассматривает более 120 перформативов, а в конце своего исследования вообще приходит к выводу, что любой глагол может быть употреблен в перформативной функции. Позднее Дж. Росс сформулировал перформативную гипотезу, в соответствии с которой каждое речевое высказывание, на уровне поверхностной структуры представляющее собой декларатив (проще говоря, стоящее в изъявительном наклонении), на уровне глубинной структуры предполагает перформативную пресуппозицию, нечто вроде «я говорю тебе, чтобы ты слышал и понял». Между прочим, статья Росса вышла за два года до публикации статьи Барта, так что при желании Барт мог с ней ознакомиться. Конечно, поздно предъявлять претензии умершему семиотику, но, увы, мне опять-таки приходится проделывать работу комментатора.

Вообще надо сказать, что прокомментирована книга совершенно произвольно. Не прокомментирован целый ряд терминов, имен, произведений, научных проблем. Если Барт не указывает, из какого источника берется им цитата, то, как правило, не делает этого и комментатор. Многие комментарии неточны или просто не-

* Т. е. такие глаголы, употребляя которые (в первом лице единственного числа — так называемая стандартная перформативная позиция) мы тем самым производим некое действие (я заявляю, обещаю, надеюсь, жду).

верны. Приведу примеры. В главе «История или литература?» (из книги «О Расине») Барт употребляет словосочетание *творческий порыв*, набранное по его собственной воле курсивом, то есть так, как в этой работе он дает чужие термины. Комментатор прошел мимо этого выражения. Между тем оно имеет достаточно длинную и знаменитую историю. Впервые его стал регулярно употреблять Анри Бергсон в книге «Творческая эволюция» (а уж Бергсон-то Барт наверняка читал!), а оттуда оно перешло к Арнольду Джозефу Тойнби, находившемуся под сильным влиянием Бергсона, и выражение «творческий порыв» стало одним из ключевых в тойнбианской историософии.

В статье «Удовольствие от текста» (текст которой, по правде говоря, не вызывает никакого удовольствия, а будучи совершенно не прокомментированным, вызывает сплошное недоумение), в частности, осталось без внимания ключевое понятие «принцип удовольствия», восходящее к фрейдской теории («По ту сторону принципа удовольствия» и др.).

Очень может быть, что выражение «все прекрасно в лучшем из миров» и не нуждается в комментарии. Все и так знают, что это слова Панглоса из повести Вольтера «Кандид», а Вольтер позаимствовал это выражение из монадологии Лейбница и Вольфа. Но я не уверен, все ли читатели уловят во вскользь брошенном «ничто не создается из ничего» («История или литература?») латинскую паремию *ex (или de) nihilo nihil*.

Комментируя термин «здесь-бытие» (*Dasein*), комментатор не указывает, что это одно из главных понятий основополагающего труда М. Хайдеггера «Бытие и время». Употребленное несколько раз в «Лекции» слово «различение» несомненно отсылает к знаменитому *Différance* Жака Деррида. Термин «речевой скандал» (статья «Текстовый анализ...») относится к аппарату теории речевых актов. Статья Зино Вендлера «Иллокутивное самоубийство» появилась, правда, на три года позже статьи Барта, но комментатор ведь тем и отличается от комментируемого, что обязан знать больше него. В противном случае сама идея ком-

ментария теряет всякий смысл. Проследить филиацию научных идей, порой идущую непредсказуемыми путями, — в этом задача научного комментария, в этом и его вкус. Если этого нет, комментарий просто не нужен.

На с. 579 комментария слово «свинг» определено ошибочно: «... манера исполнения мелодии джазовой музыки, придающая мелодии живость, ритмическую гибкость, была распространена в 40—50-е годы». Расцвет свинга приходится на 1930-е годы (появление оркестра Бенни Гудмена). Свинг определяется вполне конструктивными компонентами: 1) большим составом исполнителей и разнообразием инструментов; 2) неявным, едва уловимым рубато, то есть свободным обращением с темпом; 3) жесткостью атаки, в особенности в том, что касается ритма; 4) точностью, слаженностью ансамбля (данные взяты из Гарвардского краткого словаря музыки, р. 290).

Весьма непоследовательно (не могу удержаться и не сказать: неряшливо) составлен именной указатель. Об одних лицах сообщаются даты и краткие характеристики их рода деятельности, о других только даты, о третьих — ни того, ни другого. Почему, например, о Карле Марксе сообщается только, что он родился в 1818, а умер в 1883, а о Никите Сергеевиче Хрущеве. — что это «советский политический деятель, с 1953 по 1964 г. — Первый секретарь ЦК КПСС»? Неужели это так важно в именном указателе к книге Ролана Барта? Вопрос: почему фамилия одного и того же человека в указателе дана как *Монтескью*, а в тексте статьи — как *Монтескью*? Ответ: потому что статью переводил С. Зенкин, а указатель составлял Г. Косиков. На с. 575 в одном и том же комментарии епископу Беркли в одном случае дан инициал *Д.*, а в другом — на той же странице, через четыре строчки — *Дж.* О Пьере Булезе в указателе сказано — «французский композитор, последователь Шенберга» («образованность свою хотят показать?»). Так ведь это все равно, что написать: Ф. М. Достоевский — русский писатель, последователь Гоголя. Да, действительно, Булез был последователем серийной музыки Шенберга, но в конце 50-х годов

решительно порвал с сериализмом, написав статью «Шенберг умер» (имелась в виду, разумеется, культурная смерть — реально композитор скончался в 1951 г.).

Последнее мое замечание будет носить общий характер. Дело в том, что книга Барта уже пользуется большой популярностью, особенно в среде русских литераторов авангардного направления, в частности среди концептуалистов. К сожалению, Барт слишком доступен, он провоцирует на мнимое понимание: его идеи о власти языка и литературе как борьбе с этой властью чрезвычайно близки этому модному у нас направлению. Все это знаменательно и знакомо. В конце XIX века молодые люди увлекались Дарвином и Марксом, в начале XX — Эйнштейном и Фрейдом, теперь у нас читают Лотмана и Барта. Массовая культура —

необходимое зло нашего общества. Но ведь для этого существуют другие издательства с другими принципами подачи материала. К сожалению, «Прогресс», всегда славившийся своей основательностью, интеллигентностью и прогрессивностью, последнее время стал выпускать книги довольно низкого качества (так, «Работы по поэтике» Р. О. Якобсона прокомментированы едва ли не хуже Барта; комментатор — Вяч. Вс. Иванов). Как разительно отличаются от комментариев Иванова детальнейшим образом прокомментированные А. Е. Парнисом четыре маленькие статьи раннего Якобсона, данные в приложении к этой книге. Конечно, советские люди неприхотливы — они съедят все, что им дадут. Но какой же пример подают столпы отечественной филологии «молодым поколениям нашим»?



Поют латыши

IV. ГОРОДОК В СНЕГУ

1

Курляндский городок с хорошим историческим именем. Некогда герцогская столица. Солидный, пожилой, патриархальный. Всего на три-четыре десятилетия моложе старушки Риги. Правда, старинных исторических зданий осталось мало — чудесная готическая ратуша, домики придворных пекаря да портного, горка с бельведером* в городском саду и погреб под ней, откуда, по преданию, вел подземный ход под Вентой и где на дверях и по сей день красуется герцогская корона...

Существовавшие еще в середине прошлого столетия руины замка давно исчезли, обросли, на их месте несколько хорошеньких современных вилл. Но центр городка — весь старинный, с высочайшими застрехами черепичных крыш, со степенными, сккупыми на окна фронтонами, где мелькают ампирным хороводом буквы и цифры: «Аппо 1817», со старинными, у подъездов, фонарями с гранеными стеклами и флюгерками, на которых повторяется год постройки, с медными огромными ручками дверей и — зачастую — коронами над ними. На иных улочках — что ни дом, то звучная баронская фамилия владельца. И так все чинно: медные ручки лоснятся, как золотые, за

узкими высочайми окнами — густой туман добротных рукодельных занавесей, какая-то там жизнь идет, совсем отвернувшись от современности, замкнутая, брезгливая к улице и нынешнему дню...

... В наши дни, многоснежные, морозно-голубые февральские дни городок живет жизнью, ничем почти не отличающейся от жизни бидермейера*, от жизни столетие назад. Вы подумайте только: он совершенно отрезан от мира. Он — единственный из городов Латвии, не имеющий железнодорожного сообщения, автобусы же, заменявшие это сообщение, давно не идут. Где уж там: все ведущее к городку дороги — в трех-четырех направлениях — так замело, так густо занесло снегом, что о продвижении по ним тяжелого автобуса или даже легкового автомобиля и думать не приходится.

Так и остался городок в белоснежном, хрустальном бидермейере. Кругом — океан снегов. Куда ни взглянешь: белое, сизое, белое. Только на горизонте, далеко, накупленными дымящими снегами зигзагами застыли дремучие курляндские леса. И над ними бледный аспид густого, бессолнечного зимнего неба. Завороженная, забытый городок.

* Павильон в саду на возвышении, откуда открывается хороший вид. — Здесь и далее прим. ред.

* От названия ставевого направления в немецком и австрийском искусстве первой половины XIX века, создававшего ощущение интимности, домашнего уюта. Также уютное старинное местечко.

И на улицах — тишина. Объяльно, высоко, чуть ли не до окон залегли снега. Бежали раньше, сопели, ревели и по ним автомобили, — много их развелось в последнее время, — но теперь все попрятались в недра гаражей, не видно и не слышно, уступили место бидермейеровскому безмолвию.

Каждый день от ратушной площади направляется в «мир» — до ближайшей железнодорожной станции, находящейся на расстоянии почти пятидесяти километров от городка, — старинная почтовая карета — сани. Вы представляете себе: этакая крытая широчайшая кибитка с уютным, круглым, густо затянутым морозом окошком сзади, с площадкой для вещей, с бисерными ремнями для открывания окон, с высочайшими козлами и одним кривым, утлым дребезжающим фонарем на высоком шесте. Великолепная, чудесная кибитка — в такой вот кибитке Ростовы ездили из Москвы в Отрадное, или Аксаковы по оренбургским снежным степям, или... да мало ли описано таких кибиток. И вот живая, подлинная очутилась в нашем городке, да еще с функциями единственного связующего звена с миром за многоверстными снегами и лесами.

Ею интересуются. Кто проходит по ратушной площади в нашем городке — ведь она главный нерв, главное место встреч и бесед и сплетен, и парадов, и рынка, и торговли, и игрушечной, кукольной суетоложи в былой герцогской столице... — да, так кто проходит по ратушной площади, обязательно подойдет к кибитке, откроет дверцы и заглянет...

2

Два широчайших сиденья, обитых синим, изъеденным молью сукном, собранным пухлыми квадратами с черными круглыми пуговками в уголках, где надежно и безмолвно залегла многолетняя пыль. Вышитые бисером ремни под дребезжающими, густо облепленными морозными узорами окошками. Как-то сумки по бокам с дырявым ворсом, из которого торчит войлок. И особенный, неповторимый, уютно затхлый запах, идущий и от этого старого сукна, и от пыли, и от соломы на полу, и

от всего этого старинного, кибиточного...

Пять-шесть смельчаков ежедневно отправляются в далекий, почти призрачный, почти метафизический мир за фиолетовыми, сумеречными снегами. Остальные остаются дома, в занесенных сутробами особнячках, у теплых, наможенных, патриархальных очагов. Затонули в снегу улочки, пустыри, сады. Заборы, ели, застрехи крыш обросли огромными белыми боярскими шапками, и кажется, будто и стая воронов, застывшая где-нибудь на крыше амбара, или одинокая сорока на вышке колодезного журавля — вот-вот тоже покроются этим неизменно и неустанно сыплющимся и кружащим в воздухе седовато-белым, легчайшим пухом.

На улицах — ни души. Изредка, звонко, скрипуче, морозно поя полосьями, медленно проплывает на двух связанных цепями салазках огромная мачтовая сосна, еще утром проснувшаяся в зачарованном косятом бору. И лошаденка и мужик в заячьей шапке с наушниками, идущий рядом, курчаво заиндевели, дышат скзым паром.

Проскрипят полосья, весело заржет в стылую тишине конек, у которого так агатово сверкают под белой гризкой добрые и умные глаза — и опять безлюдье, сумерки, тишь...

Но вот из калитки выходит молодуха, крепкая, румяная, с двумя ведрами в голых руках с высоко засученными рукавами — ее и мороз не берет. Весело играя бедрами — ну впрямь арцыбашевская кобылица... — пройдет на перекресток, потремит ведрами, долго ворочает ручкой пумпы* — не идет вода, замерзла... Выскочил из соседнего дома паренек — мотается на морозном иглистом ветру челка, спортсменская грудь выпуклится под рыжей гимнастеркой — подбежал, сунулся, приналег на ручку: плюнул желобок прозрачной зеленой струей, на смех молодухе и на раздолье пареньку хлопнуть ее по широкой ситцевой спине.

Дальше, совсем у окраины, разгорились две старушки. Салопы, добротные платки, широчайшие, длинные

* Уличная водопроводная колонка.

щие юбки колоколами. Одна на улочке, другая на площадке лесенки в мезонин. Крепко ухватилась рукой в вязаной оранжевой перчатке за скользкие обледенелые перила. Тонко, хрустально звучат старушечьи голоса.

— Вилли уехал? Ку-уудааа? ..

— В Ри-и-игу! ..

— Ваай диз-эвинг! .. В Ригу! По такому морозу, да по такому хо-оолоду... Как же он уехал-то... ведь не идут эти... как они?

— В кибитке уехал... Десять латов запластил...

— В ки-ибитке! .. Де-есять латов!

И долго, почти в ужасе покачивается седая голова. Вы подумайте: Вилли уехал в Ригу, куда-то за тридевять земель, за снега, леса, за заколдованный круг бидермейера, в какой-то город, в какой-то шум, да по такому холоду, да по такому бездорожью... Старушке и думать страшно. Нет уж, лучше не думать, спрятаться в свой надежный мезонин, у старенькой изразцовой печи, где в заслонке смуглеют печеные яблочки и стоит пузатый кофейник с любимым душистым напитком, где шварцвальдовские часики — те же, что пробили, быть может, и первый час старушечьей жизни — неизменно тикают в сумеречном углу, где со стены глядит Мартин Лютер на Вартбурге, окруженный фолиантами, гусиным пером заносающий новые строки в свой вдохновенный перевод Вечной Книги...

3

Но вы не думайте, что жизнь в городке окончательно замерла. Ничуть не бывало. В нем ведь не одни бидермейеровские старушки, доживающие в патриархальной тиши свои дни. Ведь в нем десяток школ, а потому молодежь и культура, а потому сквозь снега и сумерки, сквозь жизнь по домострою пробивается негасимая, нетерпеливая струя неумолчного хотения и движения. Да и других много, которые не довольствуются сумерками и снегами за окном и той ласковой колыбельной песней, которая овеивает застужи черепичных крыш.

Так вот: в городке справляются самые настоящие, самые лихие, ша-

лые фашинги*. И как справляются! Обильно, густо, до рассвета, с удивительной, неповторимой смесью смешной патриархальной провинции с подлинным светом. Не улыбайтесь, пожалуйста: я далек от преувеличения. Правда, лица все знакомые, все те же двести-триста буржуазных веселящихся, которых можно встретить и на любительской оперетке, и на научной лекции, и на рождественском базаре, и на пятидесятилетиях всяких фэрэйнов** и обществ, и на похоронах высокочтимого гражданина, и на свадьбе таких же высокочтимых обывателей, не пожалевших тыщонки латов для ознаменования этого события.

Сначала, — когда еще не все узнаны, когда за бархатной маской и густыми кружевами разгоряченная фашингом фантазия предполагает Бог весть какие «стары»*** — и в танцевальной зале, и в романтических беседках, и в буфете идет своеобразный спорт узнавания. Ведь новых лиц нет и не может быть, ведь тут в городке за снегами и лесами, отрезанном, с одной-единственной утлой кибиткой, связующей с миром, — одна большая, общая семья, нынче дружная, завтра рассорившаяся, послезавтра опять дружная...

Ведь вот это, конечно — Шурочка. Только у Шурочки такой белоснежный лоб и такое родимое пятнышко на шее: кто же не знает родимого пятнышка Шурочки?! Шурочка пускается на хитрость — она берет у подруги шаль и обматывает ею шею: нет пятнышка, нет и Шурочки, и черная пьеретта полна волнующей таинственности...

Вот мужчинам хуже! Их, маскированных, и вообще по пальцам пересчитать, а войдет в залу этаким залихватский турок — все улыбаются без приятности: доктор Берг! Молодец! Ведь вот же занятый человек, самая большая практика в городе и уезде, а поди ж ты, нарядился турком и пришел на маскарад! Что под турком скрывается доктор Берг, об этом первым узнал, конечно, сторож в гардеробе, и не успел бедный доктор появиться в зале, как тонкая

* Увеселение, маскарад на масленицу в канун поста, карнавал.

** Фэрэйн — общество, союз.

*** «Звезды», кинозвезды (англ.).

паутинка его инкогнито уже разорвалась и не склеишь ее ничем: ша-лишь, не таковские у нас обывате-ли, чтобы не узнать доктора Берга — хотя бы по бычьему затылку. Тут не то что турком, тут хоть Патом и Паташоном* нарядись, как это сделали два приказчика из моска-тельной лавки на ратушной площа-ди,— уже мальчишки у выхода узнают!

Ах, хорошо на фашинге! Каждая девчонка чувствует себя немножко фильмовой дивой: Марой ли, Путти ли, но уж обязательно этойкой Лией**. Хотя ночь, да моя. Обмотанная лен-тами серпантина, блаженно содрога-ясь под дождем конфетти, наэлектри-зованная звуками джэз-банда, она со-вершенно забыла, что завтра ждет ее опять прогулка с осточертевшими детьми — «Тоня, не отставай! . . . Рита, не задавай глупых вопросов!» — или

* Датские киноактеры 20—30-х гг., составившие комедийную пару: высокий, худой К. Шенстрём (Пат) и низенький, толстый Х. Мадсен (Паташон).

** Игра слов: кинозвезда Лиа де Путти, шоколадные конфеты «Лиа Мара».

касса в шорной и скобяной лавке со скучными хомутами, плугами и на-следившими, крепкими, как струя мороза, которую они принесли с собою, мужиками. Нынче все это да-леко. Нынче, окруженная кавалера-ми, она жеманно приоткрывает мас-ку только для того, чтобы затынуться папиросой, глотнуть ликеру или про-глотить ломтик апельсина — и все это карнавальное, фильмовое и ша-лое кругом обжигает ее румяным, дрожащим, разгульным пламенем.

Но фашинги проходят — мимолет-ные, как рой экзотических, чудом заблудившихся в снегах, мотыльков. И опять — ветхие, постные сумерки, скрип полозьев на фиолетовом снегу, прямые, ладанные спирали дымок над трубами утонувших в сугробах домишек, бесконечные зимние по-гудки в телеграфных столбах . . . Снега, снега, накренившаяся кибитка, уносящаяся за пределы бидермей-ера . . . и бледно, акварельно вонзая-ся в тусклый аспид вечерующего не-ба пятисотлетние готические зигзаги на фронтоне древней герцогской ра-туши.

/«Сегодня», 1930, № 40/



Поют латыши

ЧИТАТЕЛЬ РЕЦЕНЗИРУЕТ

ДЕЛО НЕ В НАЦИЯХ, А В ТЕМНЫХ СИЛАХ

Уважаемая редакция, случайно оказавшись на вокзале нашего города, купил журнал «Даугава». Хотел посмотреть — чего это так рьяно суетится наша славная Прибалтика. Прочитал рассказы Карлиса Зариньша — нормальные рассказы, на среднем уровне, но биография писателя интересна и поучительна для многих сегодняшних «художественных» творцов всеобщего счастья. Вяло полистал дальше — стихи невыразительные, но это беда не только вашего журнала. Сейчас обнаружить хорошее стихотворение все равно что найти жемчужное зерно.

«Архипелаг ГУЛАГ» я уже прочитал в «Новом мире», и не один раз, так что его тоже полистал. Заодно подумал, что публикация «ГУЛАГа» — важная составительская недоработка. Журнал ваш русскоязычный, тираж «Нового мира» чуть ли не 2 миллиона, «ГУЛАГ» он публикует большими кусками, так что в смысле «свежего» тут «Даугава» ничего не дала.

Очень понравились вклейки с фотографиями архитектуры Гунара Биркерти. Интересно было узнать о его жизненном и творческом пути. А после — посмотреть в окно, увидеть улыбые коробки наших пятиэтажек, и ничего не оставалось, как тяжело вздохнуть.

Но самое волнующее меня ждало тогда, когда я стал читать статью Александра Жданка «Межнациональный конфликт или идеологическая борьба?». Статья замечательная! Ведь мы в глубине России ничего путного не знаем о действительных событиях, происходящих в Прибалтике. Официальной — центральногазетной пропаганде сейчас мало кто верит, рассказы о прибалтийских событиях противоречивы, часто окрашены националистическим душком, а статья А. Жданка открыла мне глаза. Прочитав ее, я понял, что у вас борьба идет нешуточная и, кстати, нужная нам всем. То, что Интерфронт является троянским конем реакции, это я понимал и раньше, но так четко высветить его гнилую роль — большая удача публициста.

Я — русский человек, но не националист. Я считаю, дело не в нациях, а в темных силах, поработающих трудящихся всех национальностей нашей страны. И понимаю, что латыши поднялись не против русского работника, живущего на нищенскую зарплату, а против засилья советских буржуев, наживших миллионы на повальном воровстве. Конечно, мы понимаем, что «воры без закона» — это не кособокие урки с бегающими глазами. У этих не то что миллионы, а десятка на бутылку не всегда бывает. Мы все понимаем...

А вторая статья — И. Нелипа «Перестройка или начало конца?» — исключительная по смелости суждений и глубине понимания марксизма-ленинизма-сталинизма. Ее кажущаяся простота в аргументации раскрывает большой талант публициста. Она выявляет механизм гнусного обмана нас всех — как и 70 лет назад, так и теперь. Обидно, что такой маленький тираж у вашего журнала, эту статью должны прочитать все мыслящие люди страны. Она ведь дает еще направление действия, а это сегодня очень важно.

И. Нелипа пишет: «История еще не знает вполне достоверных случаев, когда власть и привилегии уступали добровольно». Известная мысль, но ее обязательно надо иметь в виду вступающим на нелегкий путь политической борьбы. Сейчас созрела та благоприятная ситуация, когда истинно демокра-

тические силы могут вести политическую борьбу демократическим путем. За это, кстати, борется и М. С. Горбачев. Правда, он не всегда решителен, но нужна ли сейчас решительность надстройки? Демократия не насаждается с оружием в руках. С оружием насаждается только диктатура. Это надо помнить горячим головам.

И последнее. Ваш журнал маленький, и объять необъятное ему вряд ли удастся. Конечно, хочется и стихи дать, и литературную критику, и кое-что из зарубежного, но стоит ли разбегаться в разные стороны? То, что вы сказали о К. Заринше и показали его работы — идет в актив журнала. В актив идут и упомянутые статьи. А вот зачем вам такая обширная (в связи с журнальным объемом) критика? Тем более «Достоевский и Пруст»?! Сегодня об этом читают только специалисты и массового читателя это вряд ли увлечет. И — стихи! Ну зачем давать латышского поэта Ю. Кунноса в таком неряшливом переводе? Ведь журнал-то ваш русскоязычный, русские привыкли читать прилично рифмованные стихи, а если и «белые», то связанные определенной ритмической тональностью, отличающей поэзию от обычного пересказа стихотворения. Зачем вам пересказы? Перевод — это ведь тоже искусство, и весьма сложное, вспомните Пастернака, его гениальнейший перевод «Фауста»!

Несколько слов о себе. Я работаю на производстве. В свободное время пишу прозу. Публиковался в ряде центральных изданий. Пишу и публицистику. Написал серию статей о зарождении репрессий.

С уважением

В. Петров, г. Ковров

От редакции. С некоторыми утверждениями автора рецензии трудно согласиться, например о публикации в журнале «Архипелага ГУЛАГ». Ведь «Даугава» опубликовала именно те главы, которых в «Новом мире» не было.

СПАСИБО ЮРАСОВУ!

Вдова Яна Петровича Дзедатайса Дарья Афанасьевна и я, его сын Виктор Янович, выражаем Дмитрию Геннадьевичу Юрасову сердечную благодарность за память о дорогом для нас человеке, погибшем в страшные сталинские времена.

Ян Петрович Дзедатайс был реабилитирован посмертно. Об этом мы узнали из письма № Н-88/Д от 18.02.58 года, г. Москва. Получили также свидетельство о его смерти.

Мы обращались в ЦК КПСС и в КГБ СССР, ибо до сих пор не знаем, за что он был арестован. Не знаем мы места его смерти и захоронения.

Мы были бы очень признательны редакции журнала «Даугава», если бы она помогла нам узнать о возможных родственниках Яна Петровича. Может быть, кто-то из них живет сейчас в Латвии.

Ян Петрович Дзедатайс родился 5 августа 1889 г. в Ауценской волости Вольмарского уезда Лифляндской губернии в имени «Лутцем» в семье рабочего. У Яна Петровича было 2 брата.

С уважением В. Дзедатайс, г. Москва

ЧИТАТЕЛЬ СООБЩАЕТ ПОДРОБНОСТИ

Уважаемая редакция!

Я активно участвую в деятельности общества «Мемориал» и хочу несколько дополнить опубликованные в «Даугаве» материалы.

В номере 12 за прошлый год на с. 116 в числе перечисленных жертв репрессий (карточка Юрасова) назван Орас Пауль Юрьевич, комиссар ледокола. Хочу добавить, что П. Ю. Орас был комиссаром всемирно известного ледокола «Красин». 12 июля 1928 года командой этого корабля были спасены оставшиеся в живых члены итальянской экспедиции к Северному полюсу на дирижабле «Италия». Дирижабль потерпел катастрофу 25 мая того же года в районе архипелага Шпицберген. Спасенные аэронавты пробыли на борту «Красина» всего неделю. 19 июля в Кингсбее (Шпицберген) они отбыли

на итальянское судно «Читта ди Милано». Видимо, этого было достаточно, чтобы впоследствии обвинить комиссара ледокола в сотрудничестве с разведкой фашистской Италии. НКВД в те годы ничуть не заботилось хотя бы о малой правдоподобности обвинений, предъявляемых своим жертвам.

Д. Егоров, инженер,
г. Гурьевск (Калининградской обл.)

ПРОЧИТАВ «ДЕЗЕРТИРА»

Мне очень понравился «Дезертир» Г. Федорова. Я впервые встретил критические воспоминания солдата Красной Армии. Я ни в коем случае не хочу умалять значение победы Красной Армии над фашистскими войсками. Но не всегда ваша армия освобождала, не все солдаты были героями.

В Польше не разрешалось говорить о советских преступлениях, это считалось проявлением антисоветизма. Еще в 1988 году один из советников Ярузельского утверждал, что не надо говорить о катынском преступлении, потому что Красная Армия освободила Польшу. Среди прочих был освобожден и концлагерь Освенцим (Аушвиц). Советник забыл, что, освободив заключенных из гитлеровских лагерей и тюрем, НКВД употребил те же самые лагеря и тюрьмы для покорения Польши. Лишь теперь мы узнаем, что СССР — это не сталинский монолит, что большинство советских людей, как и поляки, ненавидят насилие и угнетение.

Надеюсь, что и другие люди, которые думают так же, как Г. Федоров, отзовутся. Возможно, откликнутся и те, кто знает что-то новое о преступлении в Катыни. Там погребены только заключенные из лагеря в Козельске. Мы пока не знаем, где захоронены офицеры из Старобельска и Осташкова — 10 000 человек. Если «Даугава» не найдет места для публикации таких воспоминаний, прошу переслать их в Польшу.

Конечно, у вас есть свои проблемы, но я надеюсь, что вы найдете место для моего письма, потому что «Даугава» имеет очень хороших читателей — людей, с которыми о многом можно поговорить.

В прошлом польско-советские культурные отношения были крайне централизованы. Все решала Москва. Надеюсь, что теперь отношения Польши и Латвии станут более тесными. «Даугаву» в Польшу мало знают, но и она не пишет о Польше. А между прочим, у нас есть интересные темы.

С уважением

Ежи Панкевич, г. Вроцлав

Авторы снимков в тексте: Харийс Бурмейстарс, Атис Иевиньш, Юрий Куприянов, Янис Эйдукс, Гунар Яняйтис.

Обложка художника
Андрея КАЛНАЧА

Сдано в набор 04.05.90.
Подписано к печати 04.06.90. ЯТ 00130.
Формат 60×90/16. Книжно-журнальная бумага № 1,
мелованная бумага. Офсетная печать.
Обложка и вклейки — высокая печать.
8,0+0,25+0,25 усл.-печ. л., 9,75 усл. кр.-отт.,
12,05 уч.-изд. л. Тираж 98 000.
Заказ № 813. Цена 45 коп.

Технический редактор
Мудите АРАЯ

Корректор
Любовь СОКОЛОВСКАЯ

Адрес редакции: 226081, Рига, ГСП,
Баласта дамбис, 3.
Телефоны: гл. редактор 466049,
зам. гл. редактора 465913,
отв. секретарь 465996,
отд. прозы и критики 465992,
отд. поэзии 465998,
отд. публицистики 465990,
техн. секретарь 465993.

Отпечатано в тип. Издательства ЦК КП Латвии,
226081, Рига, Баласта дамбис, 3.

ПОЮТ ЛАТЫШИ









ПОЮТ ЛАТЫШИ

Фото
Атиса Иевиньша
Юрия Куприянова
Андриса Эглитиса
Яниса Эйдукса



Фото Улдиса Бриедиса

